

НАТАЛЬЯ
КОНЧАЛОВСКАЯ

ПЕСНЯ,
СОБРАНИ-
НЯЯ
В КЛАК

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1965

Гонорар за эту книгу автор передает в фонд защиты мира.

СОДЕРЖАНИЕ

Один из ее друзей
Незабываемое
Клошары
«На балу удачи»
Тротуар
«Мой легионер»
В квартале Пигаль
«А она с нутром, эта малютка!»
Сорок лет тому назад
В доме на авеню де ля Гранд Арме
Размышления за красной скатертью
Начало большой песни
Кинозвезда без света
«Баллада о ста двадцати»
Театр Елисейских полей
«Гимн любви»
На краю пропасти
Что-то должно быть нарушено!
Снова на краю пропасти
«Человек на мотоцикле»
Дорога Ван-Гога
Версаль
Творцы и спутники песни
Прощай, Эдит!

Эта книга — о самой популярной французской певице нашего времени. Дитя парижских улиц, она принесла на эстраду мотивы, которые напевают на окраинах столицы и в кабачках на Монмартре, в метро и в очереди на стоянках автобусов. Свои произведения Эдит Пиаф исполняла совсем по-особому, так могла петь она одна. Песни составляли существо ее жизни, становились ее плотью и кровью.

Иногда ее песня была приветливой и ласковой, как пожатие дружеской руки, иногда звучала иронически, высмеивая обывателя-рантье, но чаще всего — трагически.

Во французской народной песне Эдит Пиаф уловила отнюдь не фривольные интонации, милые сердцу стольких шансонье. Обращаясь к зрителю, Эдит говорила о неудачах в любви, о неразделенном чувстве, о драме одиночества. И благодаря голосу, берущему за живое, ее страсть, ее боль становилась болью тех, кто ее слушал. Когда пела Эдит Пиаф, на эстраде мюзик-холла или модного кабаре выступала великолепная трагическая актриса.

По сравнению с другими шансонье путь Эдит Пиаф был необычайно тернист. Даже тогда, когда она добилась известности, ей постоянно приходилось преодолевать неприязнь буржуазной среды. Ее презирали мещане, третировали эстеты, всю жизнь ей ставили в упрек ее «низкое происхождение». Бульварные газеты трепали ее имя, обвиняя во всех смертных грехах, особенно в расточительстве: знаменитая артистка, познавшая в детстве жестокую нищету, не вела счет деньгам. Она говаривала: «Кто скуп на монеты, скуп на чувства».

Деньги она презирала всем своим существом, зная, до какой духовной нищеты могут они довести. Далекая от политической жизни своего времени, она не могла принять и не принимала строя жизни, покоящегося на почитании золотого тельца. И в лучших своих песнях она запечатлела трагедию человека, жизнь которого сломлена этим обществом, человека с искалеченной судьбой, но несмирившегося, со всей силой отчаяния утверждающего свое чувство и самого себя. В искусстве Пиаф была заложена огромная энергия внутреннего сопротивления, этим оно нам бесконечно дорого, и как раз это всегда раздражало ее врагов, ее противников — от тартюфов XX века до великосветских снобов.

Жизнь Эдит Пиаф известна в первую очередь по ее собственным книгам: «На балу удачи», вышедшей в зените ее славы, и «Моя жизнь», опубликованной посмертно. Книги эти, отделенные пятью годами, ведут друг с другом жестокий спор. В «Моей жизни» история Золушки, которой на балу улыбнулась удача, оборачивается страшной предсмертной исповедью. И вместе с тем автобиографические произведения Пиаф дополняют друг друга и, несмотря на противоречия, создают целостный образ большой актрисы.

На основе двух этих произведений написана своеобразная книжка Натальи Кончаловской. Сохраняя верность документу, биографическому факту, автор исходит из своих собственных впечатлений, непринужденно рассказывает нам о тех, кому выпало счастье быть другом или слушателем Эдит Пиаф. От сегодняшнего Парижа, от живых встреч писательница идет к творчеству певицы. Такое построение книги имеет принципиальное значение. Вспомним слова Пиаф о том, что она любила не только друзей, но и незнакомых, тех, кому она приносила лучшее свое — искусство, тех, для которых она готова была умереть с последней песней, тех, от кого пыталась ее отделить желтая пресса своими грязными

сплетнями. В книге «Песня, собранная в кулак» образ Эдит возникает в восприятии ее слушателей — известного кинорежиссера, соратницы Анри Барбюса, старого русского актера, хорошенькой журналистки, продавщицы пластинок, — людей самых разных профессий, но объединенных демократическими представлениями об искусстве, любовью к нему и преданностью его интересам.

Книга «Песня, собранная в кулак» не только знакомит вас с жизнью Эдит Пиаф. Автор умеет просто и поэтично передать свои ощущения, запечатлеть мир красок и мир звуков. Вместе с писательницей вы попадаете в мюзик-холл «Олимпия», что на бульваре Капуцинок, видите бледное, изможденное лицо артистки, слышите ее голос, чуть хрипловатый, в котором звучит то безумие страсти, то дружеская ирония, то бесконечная грусть одиночества.

Вы бродите по улицам ночного Парижа, где-то залитым белым светом; где-то темным и притихшим. Вы спускаетесь в кафельные коридоры метро, едете в тесном вагоне второго класса. Вы ужинаете в плавучем ресторане бато-муш, совершаете паломничество в ван-гоговские места, где «дорога вьется между полями, засеянными пшеницей, овсами, горохом. Только что прошел дождик, торцы шоссе синевато поблескивают, а листья придорожных тополей словно покрыты лаком».

Вместе с парижанами вы провожаете Королеву песни в последний путь через всю столицу на кладбище Пер-Лашез и закрываете книгу с чувством большой любви к великой артистке, к городу, где она жила и пела, к народу, которому она отдала свое самое чистое и самое дорогое — свое искусство.

Ф. Наркирьер.

ОДИН ИЗ ЕЕ ДРУЗЕЙ

В час, когда апрельские фиолетовые сумерки крадутся по старинным парижским улицам-щелям, сидели мы с Марселем Блистеном в прохладном холле на улице де Боккадор, что неподалеку от площади Этуаль.

Сквозь зеркальную витрину холла было видно, как сосед-мясник, спеша закрыть свою лавку, навешивал замок на толстую решетку поверх всегда открытой двери. За решеткой в темноте сверкал белый кафель и покачивались на цепях пустые крючья — нечто среднее между современной операционной и средневековой комнатой пыток.

Рядом, за большой витриной, хозяйка цветочного магазина — маленькая парижанка с искусно уложенными волосами — поливала перед уходом купы розовато-голубоватых гортензий, похожих на облака под крыльями самолета.

Я смотрела в окно и слушала Блистена. Невысокий, худощавый француз со светлыми глазами и седой головой, одетый в светло-серый костюм, рассказывал мне про Эдит Пиаф, которую снимал в трех фильмах. Он был с ней очень давно дружен.

Марсель помешивал кофе в оранжевой чашке, и в его бледных пальцах эта чашка казалась неистовым полыханием пламени. Он с удовольствием отпивал кофе маленькими глотками, вежливо и сухоуато улыбался. И после этой улыбки странно было слышать его слова, такие горячие и убедительные:

— Столько в этой крохотной некрасивой женщине было большого, человеческого... Такое внутреннее богатство! И никакого мещанства. Никакой меркантильности!

Мое молчание показалось Марселю подозрительным. Он продолжал :

— Вам, видно, приходилось читать скандальные сплетни о ней в газетах? Но знаете, у нас ведь очень часто выносят на улицу самые интимные стороны жизни знаменитостей. И конечно, сплошь и рядом все — наглое вранье! Эдит, бывало, читая, пожимала плечами и, хохоча во все горло, отмахивалась: «Ба! Предоставьте им заниматься своим ремеслом... Мне-то наплевать!.. Один бог знает правду!..»

Я перелистываю роскошно изданную книжку Блистена «До свиданья,- Эдит!». Она была выпущена в 1963 году. Марсель принес ее мне в подарок.

— Почему такое странное название, Марсель? — спрашиваю я.

— Это мое философское убеждение. Эдит не может умереть. И вообще мы еще встретимся с ней...

Было странно слышать такое от изысканного француза, принесшего мне вместе с книжкой список всех своих званий, всех своих сценариев и фильмов, всех выступлений по радио и телевидению. Я невольно улыбнулась:

— Где же, Марсель, вы собираетесь встретиться с Эдит?

Он развел руками и осклабился. Потом сказал серьезно:

— Вы прочтите... Здесь для вас будет много интересного.

Видимо, он был убежден, что правду об Эдит сказал только он этой книгой, тонкой, умной, умело обходящей острые углы, но несколько сентиментальной.

Бедный Марсель! Знал ли он тогда, что через год после выхода его книги с ним в битву вступит сама Эдит, написав беспощадную

«исповедь». Она диктовала ее уже в госпитале, откуда дорога вела прямо на кладбище Пер-Лашез... Книжка эта была выпущена в 1964 году и называется просто: «Моя жизнь».

«Я умру, — начинает Эдит, — и столько будет обо мне сказано, что никто не узнает, чем же я была на самом деле...

Вот потому, пока у меня есть еще время, я хочу сказать о себе сама. Рискую нарваться на скандал. Рискую показаться жалкой».

И уже не опасаясь ничьих суждений, Эдит пишет:

«Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому, что я любила прежде всего ее, жизнь. И потому я любила людей, своих друзей, своих любовников.

Но я любила и незнакомых, тех незнакомых, из которых состояла моя публика, та, для которой я пела, для которой хотела умереть на сцене вместе с последней песней своей...

Это та толпа, которая, я надеюсь, будет провожать меня в последний путь, потому что я не люблю одиночества. Ужасного одиночества, что сжимает вас в объятиях на заре или с наступлением ночи, когда спрашиваете себя; стоит ли еще жить и для чего жить?..»

Эдит заканчивает вступление к своей книге так:

«Мне бы хотелось, чтобы те, кто прочтет эту мою, быть может, последнюю «исповедь», сказали бы обо мне, как о Марии Магдалине: «Ей многое простится, ибо она много любила».

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

«Олимпия» — небольшой театр на бульваре Капуцинок. Сегодня здесь во втором отделении поет Эдит Пиаф. У входа толпится публика, то ли мечтающая проникнуть в театр, то ли ожидая конца, чтобы хоть на минуту встретиться с Эдит, выходящей после концерта, и попросить у нее автограф.

К началу второго отделения зал битком набит. Занавес поднимается над абсолютно темной сценой. Два пучка света прожекторов вырывают из мрака широкое, бледное лицо со строгими глазами.

Редкие рыжеватые волосы взбиты в прическу. Маленькая, тщедушная фигурка одета в черное, более чем скромное платье. В небольшом вырезе на шее — цепочка и крест с изумрудами.

Эдит с усилием передвигает ноги, обутые в простые черные сандалеты: у нее ревматизм. Вид у нее изможденный, она не спит без снотворного. Следы богемы, постоянной, изнурительной, залегли в глубоких складках возле рта и глаз. Ей всего сорок пять лет, а она уже неизлечимо больна.

Вот такой я увидела ее единственный раз в жизни, за два года до кончины. Вид этот вызвал во мне недоумение.

Зрители долго и шумно приветствуют Эдит. Откуда-то из глубины вступает оркестр. Чуть хрипловатым голосом Эдит объявляет:

«La ville inconnue» («Незнакомый город»). (Все песни в этой книге переведены автором.)

Этот город чужой
Мне незнаком.
Грустно здесь мне одной
Бродить пешком.
На проспекте большом

Теряюсь я.
На бульваре пустом
Пуста скамья...

Зал не дышит. Ни единого шороха! Эдит поет задумчиво, сначала говорком, потом в голосе начинает звенеть горечь :

Этот город чужой
Не знает слез.
Я бездомной душой
Брожу, как пес.
От прохожих бегу,
А они — от меня.
Я найти не могу
Улыбки дня...

Ударный инструмент врывается в оркестр так, словно кто-то жестоко молотит в запертую дверь:

И в отель я вернусь,
И постель холодна.
На заре я боюсь
Просыпаться одна.
Как хотелось бы мне
Все спать и спать,
Чтоб хотя бы во сне
Тебе сказать,
Что с тобой все мечты
В чужом краю...
Вспоминаешь ли ты
Меня — твою?..

Эдит замолкла. Долгий отыгрыш оркестра держит весь зал в напряженном молчании. И потом — взрыв аплодисментов и буквально рев публики. Все это ошеломляет меня. Сижусь со спертым в горле дыханием.

Эдит стоит неподвижно. Лицо ее преобразилось счастливой, вдохновенной улыбкой, она просто — красива! Когда буря улеглась, Эдит объявляет следующую песню. Снова зал замер, и торжественно, словно молясь, Эдит начинает:

Бог мой! Бог мой! Бог мой!
Оставь его немножечко со мной.
На день, на два, на семь.
Ведь ненадолго я прошу, не насовсем!

Это была мольба женщины, прожившей долгую жизнь и неожиданно повергнутой в новое, еще не изведенное чувство. Это даже не мольба, а нечто вроде сделки с богом.

Бог мой! Бог мой! О бог мой!
Пусть он наполнит жизнь мою собой!
На месяц, на два, на пять,
Чтоб мне потом об этом вспоминать.

В оркестр вступает женский хор, отрешенный, как в католической мессе. Ангельский голос соло где-то наверху выводит мелодию чистую, безгрешную. Этот контраст между полным тревоги, сильным голосом женщины, торгующейся с богом за свою уходящую любовь, и потусторонними голосами хора — контраст поразительный. Это красиво, дерзостно и правдиво.

Бог мой! Бог мой! Бог мой!
Оставь его, оставь его со мной.
Пусть расцветет любовь моя,
Хоть, может, недостойна я!

Последнюю ноту певица берет с такой мощью, что перекрывает и оркестр и хор. Невозможно понять, откуда берется все это у тщедушной женщины с сутулой спиной, узкими плечами и впалой грудью?

Снова буря аплодисментов. Люди встают, что-то выкрикивают, плачут и хлопают, хлопают, хлопают...

Эдит смотрит в зал такими глазами, словно только что созрела. Потом склоняет низко свою большую голову. А публика в зале неистовствует. Она любит свою Эдит и верит ей. И тот, кто хоть раз слышал ее, уже не забудет никогда.

КЛОШАРЫ

Как-то ночью я возвращалась домой в гостиницу «Мольер» на улице Мольера, что выходит на авеню Опера. Был двенадцатый час. Здание оперы вздымало к лунному свету свой купол цвета парижской зелени— медного купороса. Кругом было пустынно. Последние прохожие поспешно ныряли в подземные входы метро, обозначенные снаружи светящимися квадратами.

Я свернула в переулок, чтобы сократить путь. Неожиданно в нише у входа в книжный магазин я заметила свернувшуюся калачиком спящую женскую фигуру. Серое поношенное пальто, фетровая шляпка, под головой большая черная сумка. Она лежала спиной к улице, и над ней висела ярко освещенная луной витрина с книжками. Из-за стекла, с обложки скорбными глазами под трагическим изломом бровей смотрела на меня Эдит Пиаф. Поющий, полуоткрытый квадратом рот, выразительные, повернутые ладонями наружу руки, словно отталкивающие невидимую беду.

А над этим лицом — сверкающее буквами название книги «На балу удачи». Так и запомнилось мне все это вместе со спящей в нише. Женщина, видимо, была из странного, извечного парижского племени клошаров. Они и сейчас еще существуют там. Я видела их под мостом Сюлли, недалеко от собора Парижской богородицы. Они сидели группой возле жаровни и что-то варили себе.

Неряшливые, немытые люди в лохмотьях. Любители бродячей жизни. Они не гангстеры, не воры и даже не нищие. Они роются в мусорных ящиках, выбирая тряпье, кости, бумагу, и сбывают все это за гроши.

Они помогают ночью торговцам на Центральном рынке. Они же в конце дня убирают и выметают в здании рынка. А потом, собравшись компанией, любят купить в складчину колбасы или паштета — «патэ де фуа гра» — традиционного французского деликатеса, пикантного сыра,

свежих батонов и вина. И где-нибудь на пустыре, в подвале разбомбленного дома, а чаще всего под мостом устроить пирушку.

Если клошару предложить комнату со всеми удобствами, он сбежит из нее на следующий же день. Он предпочитает спать на вентиляционной решетке метро. Снизу идет спертое, специфического запаха тепло. А в дождь или снег можно укрыться на лестнице. Метро закрыто, но лесенка под навесом.

Это особые люди с особыми требованиями друг к другу, с особым складом характера и особой жизнью. Клошар! И слово-то какое! *Clocher* по-французски — прихрамывать, ковылять. Клошары — бродяги, калеки. В Париже есть и молодые клошары и клошарки — «ло мом дэ клош». Одной из таких мом-бродяжек была в юности Эдит Пиаф. И первая песенка, с которой она выступила на сцене ночного кабаре, была посвящена этому племени:

Мы, малышки, клошарки, бедняжки,
Без гроша в кармане, нищие бродяжки.
Это нам, клошаркам, похвастать нечем.
Любят нас случайно, на один лишь вечер!

„НА БАЛУ УДАЧИ“

Книга «На балу удачи» написана самой Эдит Пиаф в 1958 году. Мне она очень дорога. В ней слово за словом, такт за тактом рождается труднейший жанр песни, скользкой на острие ножа, одно мгновение — и искусства нет! А есть кабак с его банальными звездами, специально для удовлетворения вкусов богатых людей, ищущих острых ощущений.

Эдит Пиаф выносит этот жанр за грань непристойной и тривиальной пошлости ночных кабаре. Быть может, то, что она поет, не всегда оригинально по музыке и тексту. И это только на хорошем уровне, но по мастерству и подлинности чувств исполнение ее было настолько высоко, что заслоняло все недостатки, как внутренние, так и внешние.

В предисловии к книге «На балу удачи» французский поэт Жан Кокто предлагает читателю посмотреть на эту крохотную особу, у которой руки, «как трещины в руинах», у которой «бонапартовский лоб» и «глаза прозревшего слепца».

«...Как могут, — удивляется Кокто, — из такой немощно-узкой груди выходить такие могучие звуки ночной жалобы или такие победные, апрельские соловьиные трели?..»

Слышал ли читатель работу соловья? Он трудится, он сомневается, он верещит, задыхается, устремляется ввысь, рушится и наконец находит голос. Он выводит трель и ею потрясает...»

В этом тяжелом труде поисков «своего» Жан Кокто сравнивает Эдит Пиаф с соловьем. Кокто понимает всю сущность таланта Эдит Пиаф и необычайно точно и тонко раскрывает его.

«...Вот голос, который выходит из утробы. И как не видимый на ветке соловей, Эдит начинает — невидимой. У нее нет ничего, кроме этого взгляда, бледных рук, воскового широкого лба и голоса, который растет, растет и высится, как тень на стене от ее маленькой и такой скромной фигурки. И в эту минуту Эдит Пиаф становится видимой. Она перерастает самое себя, свои песни, музыку, слово и зрителей. Голос этот, который живет в ней с головы до пят, словно разворачивается волной

черного бархата. И эта горячая волна затопляет вас, пронизывает, глубоко волнует. С ее песней душа улицы внедряется во все городские квартиры, и это уже не поет Эдит Пиаф, это падает дождь, свистит ветер, лунный свет расстилает покрывало...»

Жан Кокто был верным другом Эдит в продолжение всей жизни. Ее смерти старый поэт не вынес умер через несколько часов.

ТРОТУАР

Отцом Эдит был уличный акробат, нормандец Луи Гассион. Матерью — третьесортная шансонетка Лина Марса. Пока отец бегал за извозчиком, чтоб отвезти жену в родильный дом, Лина родила прямо на тротуаре, возле подъезда дома на улице Бельвилль. Два ажана, обходившие квартал, приняли девочку. Это было в декабре 1915 года.

Вскоре мать бросила мужа и дочь. Она сбежала к другому. Девочку воспитывала бабка Гассион — содержательница публичного дома в местечке Лизиё.

Вместо молока бабка давала внучке из бутылочки с соской красное вино, разбавленное водой. А отец каждую неделю приводил домой новую «мачеху».

Трех лет, после гриппа, девочка ослепла. Зрение вернулось к ней только к шести годам. Бабка Гассион уверяла, что прозрение пришло благодаря чуду, которое она вымолила перед базиликой святой Терезы, когда, собрав свой батальон публичных девок, повела их на богомолье. Участницы похода не накрашились на сей раз, как обычно, и оделись в самые скромные платья. Стоя на коленях перед статуей святой Терезы, они молили об исцелении внучки своей хозяйки.

Этот эпизод великолепно описал Марсель Блис

тен. Он же рассказывает о том, что Эдит никогда не училась ни в школе, ни в музыкальном училище. До конца жизни писала с ошибками, не знала нот и когда придумывала мелодии, то наигрывала их на рояле одним пальцем. Она обладала врожденным абсолютным слухом, который позднее помогал ей уловить в оркестре из восьмидесяти человек фальшивую ноту, пропущенную самим дирижером.

Восьми лет Эдит стала выступать с отцом на улицах, в казармах, в кабачках, на площадях во время народных гуляний. Отец раскладывал потертый коврик и проделывал несложные акробатические трюки, дочь собирала на тарелочку медные гроши, а потом, в заключение, пела Марсельезу.

Он был грубоватым человеком, Луи Гассион, и нередко Эдит получала от него затрещины. Но где-то в глубине его сердца и мозга жила нежность и воображение, и он мог при всей своей нищете вдруг купить дочери вместо пары туфель роскошную куклу.

Двое состоятельных людей, угадывая в Эдит одаренность, захотели взять девочку на воспитание. Они предложили Гассиону сто тысяч франков — сумму, которая бы обеспечила его, по тем временам, на долгие годы.

— Если вам хочется иметь ребенка, заведите собственного! Этому не мне вас учить. Но с моей дочерью я не расстанусь! — строптиво отрезал папаша Гассион и, схватив Эдит за ручонку, отправился восвояси.

Так мимо девочки проскользнула судьба, быть может, оперной дивы. Ее таланту было суждено взрасти на дне Парижа, среди падших женщин, воров и сутенеров.

„МОЙ ЛЕГИОНЕР“

Шестнадцать лет Эдит ушла от отца. В те времена женщина в ее представлении была создана только для того, чтобы следовать за мужчиной, если он ее позовет.

Ее позвал восемнадцатилетний большой, белокурый парень по прозвищу Маленький Луи. Он служил в магазине в отделе доставок на дом. Оба полюбили впервые. Полюбили и были счастливы, как дети. Они поселились в маленьком отеле, на мансарде. Он ухитрился воровать с полок магазинов кое-какую посуду, для обзаведения. Она пела на улицах, на вырученные деньги покупала провизию и импровизировала домашний обед.

Семнадцати лет она забеременела. Петь было нельзя. Она поступила на кухню в судомойки, но ее уволили: била слишком много посуды и была дерзка на язык. Поступила на галошную фабрику Топэна и Маске, за двести франков в неделю красила галоши. Через некоторое время уволили: не имели права держать беременных.

Родилась девочка, ее назвали Марсель. Снова отель в районе Пигаль. Комнатка с потрескавшимися стенами. Белье на веревках за окном. Под кроватью — чемоданы, грязное белье и весь мусор, что заметался туда ежедневно. И все-таки они были счастливы. Безденежье вынуждало порой крадучись уходить из отеля, проползая на четвереньках мимо дежурного, чтобы поселиться в другом отеле, откуда уходили тем же способом. Впрочем, однажды спустились из окна, связав четыре простыни.

Луи все так же доставлял товары, Эдит пела на улицах, и вся жизнь порой казалась ей непрерывным движением по улицам с остановками для пения. Непрерывным шаганьем, а иногда беготней, если преследовали ажаны.

Однажды, выступая в казарме, Эдит встретила legionера Альберта, в которого влюбилась без памяти. Он был немного старше, мужественнее и красивее Маленького Луи. Эдит взяла девочку и ушла к legionеру. Луи страдал, выслеживал Эдит на улицах и однажды, подкараулив ее, отнял у нее дочь и заявил, что, если она хочет жить вместе с дочерью, пусть вернется домой. Эдит подчинилась. А legionера Альберта вскоре отправили в Алжир.

Двух лет Марсель умерла от менингита. Родители отупели от горя. Вдобавок, у них не было ни гроша на похороны. Кое-как Эдит собрала у друзей — уличных певцов немного денег. Не хватало десяти франков на гроб. И тогда впервые в жизни, запахнувшись в свое длинное, не по росту, пальто, Эдит вышла на панель.

— Сколько стоит твоя любовь, мом? — За ней шел громадного роста «клиент» — человек с холодными глазами.

— Десять франков, — пробормотала Эдит не оборачиваясь.

Он подхватил ее под руку и повел в грязный третьеразрядный отель. Они поднимались по крутой круглой лесенке, и Эдит чувствовала затылком чужое дыхание. В комнатке «клиент» тут же бросил на стол монету в десять франков и выжидающе уселся на стул. Эдит неподвижно стояла посреди комнаты. И вдруг, разрыдавшись, призналась ему, на что нужны ей деньги. Не поднимая глаз, человек пожал плечами и сказал:

— Ну, что ж!.. Ладно... Бери деньги. Жизнь невеселая штука! Э? — Эдит взяла десять франков и вышла.

Девочку схоронили. После похорон Маленький Луи сказал:

— Теперь ничто не держит тебя возле меня. Ты пришла в мою жизнь мечтой. А мечты всегда рассыпаются.

И он ушел, осторожно закрыв за собой дверь. А Эдит осталась сидеть на кончике стула, под которым лежал пыльный красно-зеленый мяч с дыркой.

А легионер Альберт? Он был убит в Алжире. Так ей потом сказали в казарме...

Через несколько лет, когда Эдит уже стала певицей, поэт Раймонд Ассо написал для нее песню на музыку Маргерит Монно. Первую настоящую песню на тему, которую Эдит сама ему предложила. Эта песня называется «Мой легионер». Вот она:

Были сини глаза у него,
У него был веселый нрав.
На руке татуировка была,
Лишь два слова: «Я прав!»

Я не знала, как его зовут,
Но со мною провел он ночь.
Лучезарным утром легко
От меня уходил он прочь.

Был он молод, строен, хорош,
Весь горячим песком пропах,
Солнца луч, играя, плясал
В белокурых его волосах.

Уходила, быть может, любовь,
Без упреков, даже без слез,
Он с веселой улыбкой ушел
И в улыбке счастье унес.

И в далекой пустыне был
Найден мертвым мой легионер,
Были сини глаза у него,
Широко раскрыты на мир.
И на правой руке у него
Все читали слова: «Я прав!»
Я простила ему, что он
Уходил, ничего не сказав.

Был он, молод, строен, хорош,
Далеко в пустыне зарыт.
Вместе с ярким лучом в волосах
Под горячим песком лежит.

Как-то уже к знаменитой Эдит, выходявшей после очередного концерта в сопровождении друзей, подошел какой-то человек, с лицом самодовольным и сытым, с округлым брюшком.

— Здравствуй, — сказал он.

— Добрый вечер, — ответила Эдит, не понимая, в чем дело.

— Узнаешь?

— Нет, месье.
Они отошли в сторонку. Человек пыхтел сигареткой.
— Так я же Бебер... Легионер Альберт! Помнишь?
И тут Эдит с ужасом признала в нем свое давнее увлечение.
— А ты, — продолжал он с усмешкой, — здорово выдвинулась!..
Он увидел, что Эдит ждут, отступил.
— Ну иди, там тебя господа ожидают...
Эдит была счастлива: он не узнал себя в песне, которую она только что исполняла.
Нет, это был не тот легионер! Тот умер.

В КВАРТАЛЕ ПИГАЛЬ

Мне суждено было родиться на последней ступеньке социальной лестницы, на ступеньке, которая погружена в грязь и где не существует надежд», — пишет Эдит в своих воспоминаниях.

После смерти дочери и ухода Маленького Луи она перебралась в квартал Пигаль. Это уже было общество проституток, воров, сутенеров. Один из них — тоже Альберт, — молодой и красивый, с бархатными глазами, изящными манерами, носивший невероятно широкие брюки, взял Эдит под свое покровительство. Он требовал тридцать франков в день из того, что она зарабатывала уличными песнями. Вторую свою девушку, Розиту, он выгонял каждую ночь на тротуар.

Эдит не удавалось столько заработать, тогда Альберт стал требовать, чтобы и она вышла на панель. Как ни была Эдит влюблена в своего «патрона», но на улицу выходить отказалась. Никакие угрозы ее не пугали. Однажды Альберт выстрелил в Эдит у стойки бара, но какой-то посетитель вовремя толкнул его локоть, и пуля пролетела мимо.

И все же сутенер Альберт имел какую-то непостижимую власть над Эдит. Она знала, что он промышляет «воровством, и ничего не могла поделать — ее тянуло к нему. А он примечал хорошо одетых женщин с драгоценностями, завязывал знакомство, приглашал танцевать (танцевал он, кстати, превосходно), ухаживал, угощал, потом шел провожать. Дорогой заводил свою жертву в глухой переулок, оглушал ударом по темени, снимал драгоценности, а потом со сверкающими глазами и загадочным видом появлялся в условленном месте. Они шли с Эдит в какой-нибудь Баль Мюзетт, где пили пиво и танцевали до утра.

Об этих балах великолепно писал, будучи молодым журналистом и живя в Париже, Хемингуэй.

«...По праздникам в Баль Мюзетт бывает барабанщик, но в обычные дни аккордеонист, который, прицепив к лодыжкам бубенчики и притоптывая, сидит, раскачиваясь, на возвышении, над танцевальной площадкой, сам по себе достаточно подчеркивая ритм танца. Посетителям не надо искусственного возбуждения в виде джаз-банда, чтобы заставить их танцевать. Они танцуют потехи ради, а случается, что потехи ради и оберут кого-нибудь, так это легко, забавно и прибыльно. И потому, что они юные, озорные и любят жизнь, не уважая ее, они иногда наносят слишком сильный удар, стреляют слишком быстро, а тогда жизнь становится мрачной шуткой, ведущей к вертикальной машине, отбрасывающей тонкую тень и называемой гильотиной».

Преступление и смерть бродили бок о бок с Эдит. И когда однажды она увидела одну из подружек, хорошенькую, как белокурой ангел, Надю, найденной в Сене с проломленным черепом только за то, что она

упиралась, когда ее возлюбленный гнал ее на тротуар, Эдит решила бежать от них. От этих шикарных, молодых, бесстрашных подонков.

„А ОНА С НУТРОМ, ЭТА МАЛЮТКА!“

Родилась, как воробей.
Прожила, как воробей.
Умерла, как воробей.

Эту песенку пела она, стоя на улице, в пальтишке с худыми локтями, в рваных туфлях на босу ногу, бледная, нечесаная. Пела под аккомпанемент нищей подружки-аккордеонистки.

В угрюмый осенний день исполняли они свой номер на углу улицы Труайон и проспекта Мак-Магона.

— Ого! Высший свет идет нам навстречу... — всполошилась аккордеонистка. Дорогу переходил элегантный, хорошо выбритый, благовоспитанный господин.

— А все же ты полоумная, — вдруг обратился он к Эдит, — ты сорвешь голос!

Артистки молча разглядывали незнакомца, ежась на осеннем ветру.

— Нет, ты просто абсолютная идиотка, — продолжал он. — Тебе это даром не пройдет. Эдит пожала плечами.

— Хорошо бы поесть... — пробормотала она. Господин внимательно поглядел на нее.

— Разумеется, крошка... И все же ты могла бы выступить в кабаре.

— Да, конечно... Но я еще не подписала контракта. — Эдит переглянулась с подружкой. — Вот вы не могли бы подписать его со мной?

Едва сдерживая улыбку, незнакомец посмотрел на рваные туфли Эдит и сказал:

— Я, пожалуй, возьму тебя на пробу. Идет? Эдит загорелась.

— Возьмите! — вдруг загорланила она на всю улицу. — Возьмите! Вот увидите, не пожалеете!

— Ну что же. Отлично, Попробуем. Я — Луи Лепле, директор театра Жернис. Придешь в понедельник в четыре.

Он достал из кармана газету, нацарапал на полях адрес, оторвал клочок и протянул его Эдит вместе с пятифранковой ассигнацией.

В понедельник Эдит проснулась поздно. Зевая, вспомнила она, что обещала сегодня пойти к Лепле. Решила не идти. Она вообще не верила в такие встречи. А потом вдруг к концу дня спустилась в метро и доехала до театра. Лепле стоял у входа.

— Ну, сегодня опоздание на час. А дальше как будет?

В пустом театре на слабо освещенной сцене у рояля их ждал аккомпаниатор. Но ему не пришлось играть: Эдит не умела петь под рояль. Лепле попросил ее петь все, что она знает. Она начала, как на улице, все подряд. Заложив руки за спину, торопясь, она пела кабацкие, народные, эстрадные песенки. Когда дело дошло до оперных арий, Лепле предусмотрительно остановил ее. Ему было ясно. Он предложил ей прийти через день на репетицию, выучив три песни, которые он даст ей для исполнения в следующей же программе.

Эдит разучила их за одну ночь. Нот она не знала, ей помогла ее аккордеонистка. Это были популярные парижские песенки, одна из них была «Лэ мом дэ клош».

— Между прочим, как твоя фамилия? — спросил Лепле, когда она пришла на репетицию.

— Гассион.

— Не годится для сцены. А еще какого-нибудь имени у тебя нет?

— Я выступала еще как мисс Эдит.

Лепле улыбнулся. Эдит покраснела.

— Так. Ну, а еще не было псевдонима?

— А еще... был псевдоним Таня.

— Ну, это подошло бы, если б ты была русской.

Эдит стояла перед ним хрупкая, бледная. Маленькие выразительные кисти рук беспомощно висели вдоль узких, мальчишеских бедер, обтянутых дешевой юбчонкой.

— А еще я выступала под именем Дениз Жэй... Югетт Элиа...

— Не знаменито, — отмахнулся Лепле. Он долго и пристально глядел на нее, а потом сказал:

— Ты все же настоящий парижский воробей. На арго воробей — «пиаф», вот и будешь выступать под именем Эдит Пиаф.

Эдит получила новое крещение на всю жизнь. После репетиции Лепле указал на ее залатанную юбку.

— У тебя есть что-нибудь поновее?

— Есть почти новая юбка, тоже черная... И почти готов черный пуловер, который я вяжу сама... — Она вдруг снова покраснела и засмеялась. — Очень люблю вязать... Так незаметно время проходит. — Она снова стала серьезной. — Только я не связала рукавов...

— До завтрашнего вечера довяжешь?

— Конечно, довяжу!

Эдит вязала весь день, вполголоса напевая новые песенки. Вечером в театре, запершись в своей уборной, она лихорадочно довязывала рукав к первому вечернему туалету.

— Ну как, готово? — Лепле каждые пять минут заглядывал в уборную.

Но рукав так и не был довязан.

— Твой выход! — открыл дверь Лепле. — Придется выходить без рукава.

Знаменитая в то время певица Ивонна Валлэ, услышав Эдит впервые на репетиции, прониклась к ней симпатией и подарила ей свой чудесный шарф из белого шелка. Этот шарф спас положение.

— Прекрасно, — обрадовался Лепле, увидев шарф на спинке стула. — Наденешь шарф. Поменьше движений! Смотри не поднимай рук! — Напутствовал он свою протеже. Затем он вышел на сцену и объявил уважаемой публике, что сейчас покажет мом — бродяжку, которую нашел на днях на улице.

— У нее нет вечернего платья. На ней юбчонка в четыре су. Она без грима, без чулок... Это дитя Парижа. Примите ее снисходительно. Вот она — Эдит Пиаф!

И перед взыскательной, сытой публикой, пришедшей сюда в театр-кабаре, чтоб повеселиться, появилась бледная, худенькая уличная девчонка. Из-под сверкающего белизной шарфа с бахромой виднелась коротенькая черная юбка. Худые ноги неуклюже переступали на высоченных каблуках.

Она начала робко. Потом осмелела и запела свободно и темпераментно.

Мы, малышки, клошарки, бедняжки,
Без гроша в кармане, нищие бродяжки.
Это нам, клошаркам, похвастать нечем,
Любят нас случайно, на один лишь вечер!

Почувствовав, что «забирает» публику, Эдит так увлеклась, что вскинула руки кверху, и шарф... упал. Она оказалась в патетической позе, в пуловере с одним рукавом.

Весь зал недоуменно молчал. В отчаянии выбежала Эдит за кулисы. И тогда разразился взрыв хохота и грохот аплодисментов, решивших ее судьбу...

В своих воспоминаниях Эдит пишет, что, когда она вышла раскланиваться, чей-то сильный голос из рядов крикнул:

— А она с нутром, эта малютка!.. Это был Морис Шевалье.

СОРОК ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Я помню Мориса Шевалье. В юности, когда мы с отцом — художником Петром Петровичем Кончаловским жили в Париже, мы смотрели в Казино де Пари выступление Мориса Шевалье вместе с его женой Ивонной Валлэ.

Это была прелестная пара. Очень высокий блондин, с яркими голубыми глазами и выразительно оттопыренной нижней губой, выходил на сцену в соломенной шляпе-канотье, с тростью, элегантный, веселый, ловкий, Они пели и танцевали, причем красивая маленькая Ивонна становилась крохотными туфельками на носки его огромных ботинок, и он ловко шел в танце, неся на носках свою миниатюрную супругу.

Они пели песенку, которую тогда насвистывал весь Париж. Я до сих пор помню слова этой песенки:

Скажите, Шевалье!
О месье Шевалье!
Интересно мне услышать ваше мнение,
Почему, скажите мне,
Нет французов на Луне?
Это, верно, ведь большое упущенье!

Мамзель Валлэ!
Мамзель Валлэ!
Если б было там людское население,
Все лунатики тогда
Стали драпать бы сюда!
Это правда, месье Шевалье?
Да! Это так, мамзель Валлэ!

Вот какие легковесные остроты считались тогда модными. Это было время, когда знаменитая Мистен-гетт (знаменитая певица «уличного жанра») уже была на возрасте, а на эстрадах появились новые звезды, такие, как молоденькая Ракель Меллер в своей «Виолетере» — испанская девушка с корзиной живых фиалок.

Сеньориты и сеньоры!
Покупайте вы фиалки,
Пусть не будет денег жалко,
Это тот цветок, который
Счастье может принести! —

пела Рабель, и весь Париж повторял за ней эту лесенку.

Тогда же впервые свела с ума публику песенками и танцами молодая негритянка Жозефина Бекер, с кожей, отливавшей оливковым глянецом, с чудесным сложением, с обаянием негритянской изящной некрасивости. Голос у нее был небольшой, но танцевала она бесподобно.

Совсем недавно я видела ее, шестидесятилетнюю Жозефину, на сцене театра «Олимпия». Она так же грациозна и прелестна. Окутанная розовым облаком нейлона и страусовых перьев, она под конец выступления садится на рампе, свесив в оркестр свои стройные ножки, и поет чудную простую песенку о том, как она любит своих шестнадцать приемных детей разной национальности и как она воспитывает их в духе братской любви и преданности семье, которую она, Жозефина, сама сплотила своей любовью и заботой...

Теперь я хочу представить себе, какой была Эдит Пиаф, когда Жозефина впервые появилась перед парижским зрителем.

Она, конечно, еще путешествовала с папашей Гассионом по ярмаркам и казармам, таща за ним скатанный в рулон коврик. Она тогда еще пела только Марсельезу после выступления отца. Ей было тогда десять лет.

Мне, дочери русского художника, одного из первых советских живописцев, приглашенного в Париж для персональной выставки, конечно, не пришлось бы увидеть этой пары — уличного акробата с дочерью. Мы бывали совсем в других местах и виделись либо с русскими из нашего посольства, либо с обитателями Латинского квартала — художниками, музыкантами, поэтами.

Но, может быть, Морис Шевалье на народных гуляньях, на больших площадях Парижа проходил мимо круглолицей девочки с большим бантом в распущенных волосах, протягивавшей тарелочку с медяками в надежде на еще одну монетку. Проходил, не подозревая, что он станет большим почитателем ее таланта и будет считать за честь выступать с ней вместе...

Шевалье, человеку иного темперамента, чем Эдит, истому французу, во всем знающему меру, конечно, была чужда ее неистовость. В своей книге воспоминаний он писал о ней: «Пиаф, маленький чемпион легкого веса, нещадно тратит свои возможности. Она словно не экономит ни сил, ни заработка. Она бежит, гениально восставая против всего узаконенного, катится к пропасти. Я словно стою на обочине ее дороги и, симпатизируя, с тревогой наблюдаю за ней. Она хочет охватить все и все охватывает, отвергая древний закон осторожности в профессии «звезды!» Так писал Шевалье, безоговорочно признавая талант, который, как звезда, взошел на черном небе ночного Парижа! Талант, который внес новое в жанр французских шансонье, внес свою правду подлинного искусства. И первым, кто угадал ее, был Морис Шевалье: «А она с нутром, эта малютка!»

В ДОМЕ НА АВЕНЮ ДЕ ЛЯ ГРАНД АРМЕ

Луи Лепле верил в талант Эдит, и ничто не могло разубедить его. Вокруг них было много людей, пытавшихся очернить ее. Она постоянно раздражала кого-нибудь своим вздорным характером, своей некрасивостью и невзрачностью. Лепле никого не слушал.

— Гениальное существо! Когда-нибудь все поймут это.

И он продолжал требовать от Эдит тренировки голоса, поисков собственного жанра, постоянной работы над жестом, движением и выразительностью. Ей все давалось легко, потому что во все вкладывался неуемный темперамент.

Лепле был одинок. Перед встречей с Эдит он потерял единственного друга — мать. Может быть, потому он привязался к Эдит, следил за ней, опекал по-отцовски, журил за влюбчивость, легкомыслие и особенно серьезно заботился о ее голосе и ее репертуаре.

Однажды ему представился блестящий случай показать Эдит на вечере-гала. Он был организатором концерта в пользу вдовы недавно умершего знаменитого клоуна Антоне. Были собраны «звезды» Парижа. Суперобложку на программу рисовал художник Поль Колэн. Со вступительным словом появился перед публикой известный драматург Марсель Ашар, в программе стояли имена лучших актеров театров, кинематографа, цирка, эстрады. И среди таких знаменитостей, как Мистенгетт, Морис Шевалье, Прежан, Фернандель и Мари Дюба, впервые появилось имя Эдит Пиаф.

Это была весна 1936 года. Возле цирка Медрано, где должен был состояться вечер-гала, на бульваре Клиши продавали фиалки. Черные ветви деревьев чертили гаснущее над Парижем небо. Монмартр был окутан первым весенним теплом.

Концерт удался. Все исполнители были в ударе. Публика принимала их с восторгом, но для нее было неожиданным выступление довольно курьезной пары — Лепле и Эдит Пиаф. Худой, высокий Лепле, элегантный, в безупречном фраке, с изысканными манерами, известный всему Парижу как один из виднейших режиссеров, сопровождал уличной «мом» в черном пуловере и дешевой юбчонке. Эдит так блестяще исполняла свои песенки, что публика приняла ее с не меньшим энтузиазмом, чем свою любимицу Мари Дюба. Аплодисменты и крики «браво» доставляли Лепле истинную радость. Он гордился своей воспитанницей.

— Ну, кроха, ты выходишь в большие кадры! — сказал он, расцеловав Эдит после выступления.

В апреле решено было ехать в Канны на весенние гастроли. Они тщательно готовили программу к поездке, разучивали новую песенку «Фрак поет», которую написали для Эдит композитор Аккерман и поэт Жак Буржа.

А между тем дни Лепле были сочтены. Видимо, он чувствовал это, потому что стал задумчивым и даже чем-то удрученным.

— Знаешь, кроха, я видел во сне мать. Она говорила: «Приготовься, я за тобой приду».

Эдит смеялась и старалась разубедить его в нелепых предчувствиях.

Шестого апреля Лепле был убит у себя на квартире, на авеню де ля Гранд Арме. Вечером он вернулся из турецких бань. А утром был найден в постели с простреленной головой. Выстрел был сделан прямо в глаз.

Никаких следов ограбления не найдено.

Накануне вечером в театре Эдит и Лепле сговорились утром поехать погулять в Булонский лес, как это они всегда делали перед репетицией. Но к ночи за Эдит заехали друзья, чтоб проводить одного из актеров, которого забирали в армию. Решено было покутить в последний раз в компании с новобранцем. Разошлись под утро — всю ночь танцевали.

В восемь часов Эдит добралась домой и, прежде чем лечь спать, решила позвонить Лепле — повиниться и попросить отложить утреннюю прогулку в Булонский лес. Трубку подняли немедленно.

— Алло! Папа Лепле?

— Да.

— Папа, извините, что я вас так рано разбудила,—» зашебетала Эдит, — но дело в том... Мы только что проводили нашего...

— Приезжайте немедленно.

Трубка была брошена. Эдит поразило только одно; папа Лепле обращался к ней на «вы».

«Сердится», — подумала она, затем накинула пальто, спустилась вниз и взяла такси...

Дом возле площади Этуаль, на авеню де ля Гранд Арме, в котором жил Лепле, был оцеплен полицией. Со смутным предчувствием огромного несчастья, она пробилась сквозь толпу зевак к подъезду. Инспектор заметил ее.

— Вы Эдит Пиаф? Проходите!..

В сопровождении ажана она поднялась в лифте. Двери были открыты, шторы спущены. По квартире ходили какие-то люди. В кресле в гостиной глухо рыдала Лаура Жарни — владелица театра Жернис. Эдит кинулась в спальню. На кровати, вытянувшись под простыней, лежал мертвый Лепле. Лицо его было необычайно красиво и величественно. Пуля, попавшая в глаз, нисколько не изуродовала его...

Эдит с воплем упала на ковер возле кровати.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЗА КРАСНОЙ СКАТЕРТЬЮ

— Мне бы хотелось угостить вас ужином на бато-муш. — Мариз смотрит на меня черными, как зрелые оливки, глазами. Своей темной, густой челкой над продолговатым лицом, маленьким ртом, черным бархатным костюмом, в вырезе которого пенятся кружевные рюшки, и белой камелией в прическе она мне напоминает какой-то ренуаровский портрет, но в черно-белой репродукции.

Мариз — журналистка, мы с ней знакомы еще с французской национальной выставки в Москве. А сейчас она встретила меня в Париже, чтобы побродить вместе по музеям и выставкам.

Ужинать так ужинать! И мы с Мариз отправляемся на Аллею Альберта I. Там пристань речных трамваев — бато-муш. Народу масса. Сегодня воскресенье, и множество туристов хотят прокатиться в плавучем ресторане. Мы становимся в очередь в кассу.

— Пожалуйста, два билета с ужином, — просит Мариз.

Кассир протягивает ей два билета.

— Это на тот? Красный? — спрашивает Мариз.

— Да, мадам! Красный, но не более, чем это требуется! — острит кассир. Мы с Мариз переглядываемся и смеемся. Идем за перегородку, откуда по мостику перебираемся в плавучий ресторан.

Большая палуба уставлена столиками, на каждом — красная суконная

скатерть и два или четыре куверта. В медных подсвечниках — красные свечи, их зажгут, когда стемнеет. Над палубой — стеклянный купол. В трюме — кухня, куда по лесенкам сбегают и поднимаются гарсоны в белых куртках и черных брюках.

Мы садимся за столик на двоих. Заходящее солнце полыхает в окнах домов на набережных. Бато-муш готовится к отплытию. Все столики заняты, большинство — иностранцы.

Рейс бато-муш по Сене к острову Сите, подо всеми мостами. Обогнув Сите возле собора Нотр-Дам, бато-муш идет обратно, мимо Эйфелевой башни, до моста Греннель, где стоит небольшая статуя Свободы (копия той громадной, в Нью-Йорке, которую в 1886 году Франция подарила Америке), здесь бато разворачивается и идет уже к пристани. Все это путешествие занимает около двух часов.

Мы плывем. Над нами сквозь стеклянный купол видны звезды в бархатной глубине. Под нами зыблется и мигает огоньками черная вода Сены. Гарсон приносит по половине омара, запеченного на углях, бутылку белого Альзаса и тонкие хрустящие батоны хлеба. В рефлексе от красной скатерти и теплого полыханья красных свечей — красные клешни омара, бледное лицо Мариз и черный бархат на ее узких плечах, — все это отдает какой-то мефистофельщиной.

Мимо нас бегут назад парапеты набережных Сены со старинными домами, глядящими на нас освещенными окнами.

Подплываем к острову Сите. Слева высится Дворец Правосудия, к нему подступает Кэ дез Орфевр — набережная «золотых дел мастеров». Сейчас будет Нотр-Дам. И вдруг на нашем бато возникает музыка — хорал Баха на органе. Магнитофонная запись.

Я смотрю на набережную, и в моей памяти отчетливо возникают страницы из книги «На балу удачи». Страшные страницы допроса Эдит Пиаф во Дворце Правосудия.

Ее не подозревали в соучастии в убийстве, но полиция, следившая за ней с самой ее юности, считала, что Эдит могла знать преступника. Весь день допрашивал Эдит инспектор, к вечеру сам комиссар занялся ею и через час убедился в ее непричастности.

И вот в такой же апрельский вечер она оказалась на этой набережной Кэ дез Орфевр. Униженная, раздавленная, в полуобморочном состоянии...

Я смотрю на парапет, мимо которого проплывает наш бато, и в моем воображении возникает одинокий силуэт маленькой женщины, смотрящей на воду... Быть может, в ту минуту такой же бато-муш с беспечной публикой за столиками с красными свечами проплывал перед ее взором, полным растерянности и тоски загнанного зверька. А с палубы неслись чистые, отрешенные от всего земного хоралы Баха.

...Она тогда пошла куда глаза глядят. Перешла Новый мост и вдоль набережной, мимо темного надменного Лувра и по Тюильрийскому парку дошла до площади Согласия. Затерянная среди вечернего рокошущего Парижа, побрела под каштанами по Елисейским полям...

Я вижу ее, остановившуюся на Круглой точке, в сердце Елисейских полей. Там бьют вечером четыре подсвеченных радужным светом фонтана. И в этой радуге лавирует движение блестящих машин... Эдит переходит площадь и вскоре, под густой тенью цветущей аллеи, сворачивает палево, на улицу Пьера Шаррона, к театру Жернис. Он уже кончил свое существование, Но кое-кто из служащих маячил возле входа. Эдит подошла. И тут один из актеров-недоброжелателей вдруг со злорадством процедил:

— Ну что ж, теперь, после того как твой покровитель дал дуба, тебе с твоим голосишком опять только на перекрестках придется петь! Э?..

Наш плавучий ресторан огибает Нотр-Дам. Извечные, великолепные башни, освещенные прожекторами снизу, словно поворачиваются вокруг самих себя. Орган все еще звучит хоралами. А я все еще вижу Эдит... Как ей хотелось, чтобы о ней написали! И вот пришел этот час, когда, развернув газету, она увидела в ней свою фотографию и свое имя. Газеты были полны подробностями, оскорбляющими память ее друга. Целые подвалы, посвященные «делу Лепле», где героиней была она сама и в таком отвратительном облике, что Эдит просто боялась уже развернуть свежий номер...

Потом посыпались предложения. Хозяева кабаре, зная, что Эдит «на мели», наперебой предлагали ей подписать контракт. Но она понимала, что в ней нуждались не как в певице, а как в приманке для публики — «скандальная штучка!». Эдит могла даже выбирать. Она выбрала маленькое кабаре «Одетта» на площади Пигаль. Каждый вечер она пела там, и каждый вечер ледяное молчание публики встречало и провожало ее. Под звон бокалов за столиками зрители холодно разглядывали певицу и отпускали колкости. И ни одного хлопка!

Однажды после первой песенки кто-то освистал ее. Тогда поднялся крупный, пожилой человек.

— Зачем вы свистите? — обратился он к скандалисту.

— А вы что, газет что ли, не читаете? — ухмыльнулся гот.

— Читаю!.. Но если человек на свободе, то он невиновен, а если он виновен, предоставим властям судить его. Если артистка плохо поет, храните молчание. В кабаре не свистят. А если хорошо, то похлопайте ей, не вмешиваясь в ее личную жизнь...

И мгновенно весь зал стал хлопать, прежде всего защитнику Эдит, а потом уже и ей самой... Но это было всего один лишь раз. И она поняла, что в Париже ей больше выступать нельзя...

Наш бато-муш огибает Нотр-Дам. Теперь я вижу Дворец Правосудия с другой стороны. Орган еще играет Баха. Я смотрю на серую громаду с угловыми башнями... Кое-где в окнах мелькают огоньки... И думается мне, что пока здесь, за столиками с красными свечами, вкушают изысканные удовольствия свободные люди, гости-туристы и состоятельные парижане, может быть, за этими окнами еще какая-нибудь птичка бьется в сетях полиции, пытаюсь выпутаться... А орган играет и играет небесную музыку.

— О чем вы задумались, Наташа? — спрашивает Мариз.

— О воробушке... — отвечаю я.

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ПЕСНИ

Друзья отвернулись. Денег не было. Кое-как зарабатывая на пропитание и на ночлег, Эдит проскиталась лето на юге. Впереди была зима. Надо было возвращаться в Париж. Он встретил ее осенним, промозглым туманом. Холодно, деловито.

Эдит взяла номер в дешевом отеле, по старой привычке, в квартале Пигаль. Надо было где-то устраиваться. Все связи с театрами были потеряны. Теперь, когда Париж забыл о «деле Лепле», она уже никому не была нужна. Бесцельно слоняясь по городу, стараясь не встречаться с бывшими знакомыми, Эдит была близка к самоубийству.

Однажды, зайдя в бистро, чтобы согреться чашкой кофе, Эдит,

расплачиваясь у стойки последними монетами, вдруг обнаружила в кошельке забытую записку с адресом и номером телефона поэта Ассо, который просил ее «в случае чего позвонить ему». Эдит зашла в кабину автомата и набрала номер. Ассо подошел к телефону сам.

— Раймон?.. — Голос Эдит, хрипловатый и неуверенный, повис где-то на проводе.

Алло! Да, да... я слушаю... Раймон.., Это я... Можете ли вы заняться мною?.. Я...

Раймон узнал ее сразу.

— Конечно, Эдит. Я целый год жду твоего звонка. Бери такси и приезжай ко мне сейчас же.

И в чем была, не заглянув в свою комнату в отеле, Эдит взяла такси и приехала к Раймону...

Со всем пылом упорства Раймон Ассо вступил в битву за Эдит Пиаф. Он считал, что актрисе такого диапазона не место в ночных кабаках. Ей нужна большая сцена мюзик-холла. Только большая публика может по-настоящему оценить ее талант. Так считал Раймон, страстно веря в маленькую заброшенную певичку, у которой не было ничего, кроме голоса.

Но куда бы ни обращался Ассо, нигде не брали Эдит. Он начал атаковать один из лучших театров Парижа — «А-бэ-сэ». Директором его был Мити Гольдин, который и слышать не хотел об Эдит.

Раймон околачивался в бюро театра ежедневно с самого утра. Дождавшись Гольдина, он неизменно принимался доказывать ему, что Эдит — талант, что ей непременно надо дать дорогу и возможность набрать высоту.

Наконец Гольдин, выведенный из терпения, сдался и подписал контракт с Эдит Пиаф, подсунутый ему Раймоном Ассо под горячее перо. Гольдину никогда впоследствии не пришлось раскаиваться.

Эдит вышла на подмостки театра «А-бэ-сэ», и первая же статья о ней в газете «Пари-Энтрансижан» по-новому всколыхнула интерес парижского зрителя. Статью написал журналист Морис Верн: «...Малютка Пиаф, этот грустный необузданный ангел народных балов... Малютка Пиаф — талантлива. Ее голос поднимается металлическим звоном жести выше крыш домов, во дворах которых когда-то пела уличная певичка — мом Пиаф!

Да, это так, господа! О ней еще нет настоящей прессы, но ей нужны песни. Ее репертуар. Ее реальность, которая скитается в квартале Виллетт, хрустит и саже заводских труб и жужжит в припевах, подхваченных беспроводным телеграфом быстро».

Первые песни этого жанра написал для Эдит Пиаф Раймон Ассо. Песни, «собранные в кулак», песни реалистические. Раймон Ассо считал, что именно он должен открыть новую струю жизненной правды в песенном французском жанре, ту струю, которая окажет влияние и на будущих исполнителей.

Первыми песнями, написанными Раймоном для Эдит и создавшими ей славу, были: «Мой легионер», «Путешествие бедного негра», «Я не знаю конца». Бывало и так, что Эдит приносила Раймону новую тему просто «в пригоршне». Так, однажды она возвращалась с юга курьерским поездом. В купе рядом с ней сидел молодой, симпатичный парень. Ей особенно запомнились его большие, откровенные руки. Тряска укачала Эдит, и она заснула, уронив голову ему на плечо. А он прислонился головой к ее голове и тоже уснул.

Когда они проснулись, поезд стоял в Марселе. Парень выскочил — это была его остановка... В следующее мгновение Эдит уже видела его сквозь вагонное стекло: его вели два инспектора полиции, видимо ожидавшие на перроне. Руки его были в стальных наручниках.

Больше он ей не встретался. Но родилась песня «Париж — Средиземное море».

Мчит курьерский. Ночь полна движенья.
Позади остались развлечения.
И на сердце смутная тоска.
А напротив дремлет славный малый,
У него какой-то вид усталый
И большая добрая рука.

Раймон любил Эдит. Он отдавал ей все самое лучшее, что жило в нем самом. Он заставил ее читать. Эдит, которая интересовалась только газетными сенсациями с заголовками вроде: «Убийца был левшой» или «Ей было пятнадцать, когда ее соблазнили!», начала читать и понимать настоящую литературу. Ассо был первым, кто занялся ее духовной культурой.

Но Эдит ушла. Это было в начале войны 1939 года. Раймон был уже мобилизован, когда в жизни Эдит появился актер Поль Мёрис.

«...Раймон, я уже однажды просила у тебя прощения за это,— пишет Эдит в своей «исповеди», — сегодня я хочу еще раз попросить у тебя прощения. Ты был всегда со мной так добр и так щедр...»

Поль Мерис умел, как никто, подать женщине пальто. Он умел открыть перед ней дверь и пропустить ее вперед. Он умел вести под руку так, словно нес свою спутницу, и в это время занимать ее остроумной беседой.

Его сдержанность и невозмутимость пленили хаотическую натуру Эдит. Она прожила с ним недолго, и эта жизнь была сплошной битвой за авторитет. Эдит всегда подмывало вывести его из равновесия хоть чем-нибудь. Иногда она подкрадывалась сзади к нему по ковру на цыпочках и неистово орала у него над ухом, и хоть бы раз он вздрогнул!

Однажды, выведенная из себя его самообладанием, Эдит начала бить и ломать все, что ей попадалось под руку. Она рычала и кидалась на него зверем. Он молча лежал на диване, потом сказал: «Пожалуйста, только не разбей радиоприемник». Этого было достаточно, чтобы она схватила приемник.

Поль приоткрыл один глаз, Эдит бросила приемник на пол и начала его топтать ногами. Тогда Поль медленно встал с дивана: то нехорошо, то, что ты делаешь, — спокойно сказал он, потом, вклепив ей хорошую оплеуху, снова улегся на диван.

Им пришлось разойтись. Но этот период нашел отражение в их совместном блестящем выступлении.

Жан Кокто написал для Эдит скетч «Равнодушный красавец». В скетче было всего две роли: мужская — без единого слова и женская — монолог. Действие происходит в комнатухе дешевого отеля, освещенной огнями реклам через окно. Здесь живет маленькая певичка из ночного клуба, которая любит красивого парня, уже равнодушного к ней. Вся ее жизнь — ожидание...

Он входит, молча надевает пижаму, ложится на кровать, закуривает сигарету, разворачивает газету и, закрывшись ею, начинает читать. А она

говорит. Этот патетический монолог неразделенной любви Эдит разгрызала превосходно. Женщина переходит от гнева к страстным уверениям и мольбам, от нежности к угрозам, от слез к истерической веселости. А он уже спит. Она будит его. Он вскакивает, одевается, чтоб уйти. Она цепляется за него, проклинает, умоляет, обещает быть покорной. Но он ударяет ее по лицу и уходит, хлопнув дверью. С диким криком: «Эми-и-иль!» — она бежит к окну, пока занавес медленно закрывается.

Это был шедевр, создавший Эдит Пиаф славу драматической актрисы.

КИНОЗВЕЗДА БЕЗ СВЕТА

Мы снова сидим с Марселем Блистеном за кофе и снова ведем долгую беседу об Эдит.

За окном весенний день над Парижем перемежается то нерешительным теплым дождичком, то жаркими улыбками солнца и, вдруг опять насупившись, убирает с тротуаров тени раскидистых каштанов. Точь-в-точь, как красивая и капризная женщина, не знающая, куда девать избыток молодости и экспансивности.

— Вы знаете, — говорит Марсель, — фильм пришел абсолютно неожиданно. В 1943 году мне пришлось искать пристанища и я нашел его на ферме Фрежюс, принадлежавшей секретарю Эдит. Мне нельзя было выйти на улицу, чтоб не попасть в облаву (Блистен – еврей). Я скучал неимоверно. Читать было нечего, и однажды, когда Эдит приехала навестить меня, она вдруг предложила: «Напиши для меня сценарий».

Я стал отказываться, потому что не видел ни малейшей надобности в фильме об уличной девчонке, ставшей знаменитой певицей.

«А ты напиши о той, которую, кроме меня, никто не мог бы сыграть...»

И я написал сценарий «Звезда без света». О маленькой провинциальной няньке, которая обладала удивительным голосом и одолжила его знаменитой актрисе, не умевшей петь.

История была жестока и правдива. Над нянькой издевались, пользовались ее голосом, ее доверием и оставили забытой и несчастной. Когда я прочел Эдит свой сценарий, она загорелась:

«Шикарно! Вот увидишь. Сель, он пройдет, твой сценарий!»

В 1944 году я смог вернуться в Париж и поселиться у моей матери на авеню Марсо — я все потерял за это время. Немедленно по приезде я разыскал своего продюсера и показал ему новую работу. Когда он узнал, что сценарий написан для Эдит Пиаф, он запротестовал:

«В кинематографе ее не знают. И к тому же ее внешность мало сексуальна...»

Продюсер предложил мне взамен нескольких популярных певиц. Тут была моя очередь протестовать. Я предложил ему все же встретиться с Эдит. На следующее утро мы отправились к ней.

Была невыносимо холодная зима. Эдит, которая вообще никогда не была кокетливой, не нашла нужным принарядиться и подкраситься, как сделала бы любая актриса, мечтавшая хотя бы об эпизодической роли. Эдит встретила нас лежа, укутанная в рваный платок, с сеткой на голове и лицом, намазанным густым слоем жира. Нет, это, конечно, был не тот вид, при котором рассчитывают получить главную роль.

Продюсер отказался от такой ведетты. Он никогда не слышал Пиаф на сцене. Сценарий мой горел. Помог случай. Эдит в то время добивалась признания для своего протеже — Ива Монтана. Она попросила меня

организовать концерт Монтана для прессы. Я согласился с условием, что она сама выступит в этом концерте.

В кафе Майфер, на бульваре Сен-Мишель, состоялся концерт, в котором Ив Монтан впервые выступил перед журналистами и в котором мой продюсер услышал Эдит. Он был ошеломлен. Бледный, он сидел рядом со мной буквально в оцепенении.

«Она гениальна, твоя Эдит, — бормотал он, — она чудесно преобразается, когда поет... Я готов подписать контракт хоть сию минуту!..»

Мы приступили к съемкам. Работа с Эдит доставляла мне большое удовольствие. Она была послушна и внимательна. Но однажды сказала:

«Знаешь, Сель, когда ты кричишь на меня при всех, я, видимо, выгляжу так, что актеры смеются надо мной. Давай уговоримся: ты мне будешь делать знаки руками».

«Какие знаки?» — недоумевал я.

«Ну, допустим, показывая мне расстояние между большим и указательным пальцами, — Если я перехватываю, то уменьшай это расстояние. Если недобираю — увеличивай. Понятно? Вот так!» — И она показала мне на пальцах, что от меня требуется. С той поры я всегда выражал ей свои соображения незаметно для посторонних, и нам обоим это доставляло большое удовольствие...

Блистен рассказывает мне еще множество интересных деталей, в которых я как в зеркале вижу отражение маленькой, умной, темпераментной и на редкость талантливой женщины.

— Вы знаете, для этого фильма была создана песня, которую Эдит непременно хотела петь в концертах. Видели бы вы, с какой настойчивостью приучала она публику к этой песенке! Сначала публика никак не принимала песни. Но Эдит добивалась своего и довела исполнение до такого совершенства, что песня стала популярной...

Я нашла эту песню среди пластинок с записями концертов Эдит Пиаф. Слова для песни написал Анри Контэ, музыку — Маргерит Монно.

Был вечер.
Площадь Трините.
И грохнул выстрел в темноте.
У дамы удивленный вид:
Мужчина на земле лежит...
И вот уж новый номерок
На регистрации в бюро.
И полицейский комиссар
Кладет печать — глухой удар...
Идет допрос, и рвется нить —
Она не хочет говорить.
Лишь с прошлым мысленно она
Теперь беседует одна...

Все начиналось летним днем,
Гуляли целый день вдвоем.
Потом он с нею танцевал.
Потом, конечно, целовал.
Потом...
да этого вполне
Довольно, чтоб сгореть в огне...

Пошли в двенадцатый район,
Был брак в мерию заключен.
И так же грохнула печать,
Чтоб вместе жизнь теперь начать.
Потом они пошли вдвоем
И встали перед алтарем.
И в церкви хор звучал для них,
Орган играл для них одних.
И свадьба чудчая была.
Трезвонили колокола,
Такой веселый, громкий звон —
Динь-дон! Динь-дон!
Динь-дон! Динь-дон!
Они трезвонили,
Вокруг не поняли,
Что это был не звон, а стон.
Динь-дон! Динь-дон!
Изменит он!
И шел трезвон — динь-дон! Динь-дон!
Предатель он! Изменник он!
Трезвон! Трезвон!

— Вы не можете себе представить, — горячо продолжает Марсель, — какую великолепную деталь для исполнения нашла Эдит. Когда в оркестре начинали звонить колокола, Эдит принималась раскачивать головой вправо и влево. Все сильнее, уже всем корпусом раскачивалась она, подчеркивая свое иступленное отчаяние движением, в такт колоколам, которые вызванивали безысходное горе, безумие женщины, убившей своего мужа...

Второй фильм мы снимали уже в 1958 году, вместе с режиссером Пьером Брассером. Это был фильм «Любовники завтрашнего дня». Драма маленькой служанки провинциального кабачка в браке с грубым и жестоким человеком — шофером. Действие происходит в ночь под рождество. После ссоры с мужем женщина напивается и засыпает за столом в кабачке.

Среди ночи появляется молодой незнакомец, который просит срочно починить его машину. Никто из шоферов не хочет работать в сочельник. Приходится ждать до утра. Незнакомец заговаривает со служанкой. Они друг другу симпатичны. Мало-помалу между ними возникают искренние, дружеские отношения.

На ремонт машины уходит три дня, в течение которых разыгрывается драма. Незнакомец оказывается известным дирижером, убившим свою жену, которая ему изменяла. Он был вынужден бежать из Парижа, и его разыскивает полиция. Все это узнают местные шоферы из газет. Маленькая служанка уговаривает дирижера бежать. Между ними разыгрывается прелестная сцена, где она благодарит его за короткую, чистую дружбу. Но в эту минуту врывается муж и грубо обрывает их разговор, заявив, что он уже вызвал полицию.

И тогда служанка убивает мужа. Дирижер предлагает ей бежать вместе с ним, но она отказывается. Их обоих захватывает полиция, и судьба соединяет их, арестованных в один и тот же час, как любовников, которыми они никогда не были...

Здесь, — добавляет Марсель, — прием был очень интересен именно

тем, что Эдит не пела на экране, а песнь ее звучала за кадром. Эдит словно слушала сама себя, собственный голос, голос ее души.

Да, — заканчивает Марсель свой рассказ. — Эдит Пиаф была чудом во всем! Она чувствовала, как никто, пела, как никто, одевалась странно, как никто. Она умела радоваться до сумасшествия, хохотать до колик, но и сердилась она до испуга, до звериного неистовства. Она умела не прятать своих недостатков и умела не прятаться за своими достоинствами, добрыми поступками, которым не придавала никакого значения. Я горд и счастлив ее дружбой, ее доверием, которыми она дарила меня до конца своей жизни...

Мы расстались с Блистеном поздно вечером. Стоя у окна, я смотрела на скупо освещенный тротуар переулка, вдоль которого стояли автомобили, поблескивая полированными плоскостями разных цветов.

Марсель бежал по тротуару, и оттого, что он был в сером, он казался легким, как собственная тень. Я смотрела ему вслед и думала о том, что все же Эдит не получила в мире кино должного внимания, уже просто потому, что не во всех странах были показаны ее фильмы. У нас, во всяком случае, никто не знает о них. И пожалуй, здесь, в этой области, она осталась кинозвездой без света. А между прочим, Чарли Чаплин однажды сказал о ней:

«Я обожаю ее и высоко оцениваю ее дарование, она как актриса сделает на экране то, что делаю я...»

„БАЛЛАДА О СТА ДВАДЦАТИ“

Улица Баллю. Она находится между площадями Клиши и Пигаль. Квартал кабачков, театриков, квартал ночных развлечений. Я попадаю туда белым днем. Со станции метро «Клиши» поднимаюсь на площадь, заворачиваю в узенькую старинную улочку. Вот и нужный мне дом. Он режет, как острый нос высоченного корабля, перекресток улиц Баллю и Вентимиль. Вот и балкончик на третьем этаже. С балкона мне машут двое. Совсем как на холсте парижского художника начала нашего века. Это Вера Вольман и ее муж Григорий Хмара.

Вера — журналистка, президент Интернациональной федерации кинопрессы, высокая, еще молодая и стройная, в ярко-синем платье лаконичных линий, со стриженными перистыми, пшеничного цвета волосами. Хмара — старый, в бытность свою, сорок лет назад — актер МХАТа в Москве.

Я поднимаюсь по узкой, темного дуба винтовой лестнице и останавливаюсь перед старинными двухстворчатыми дверьми. Вера открывает мне:

— Алло! Наташа! Заходите! — Сине-зеленые глаза ее приветливо щурятся. В зубах — сигарета, на груди, на тяжелой цепи черного серебра — звезда, нечто вроде масонского ордена. За Верой в коридоре — Хмара. Он совсем старый, но бодрый и веселый. Серые волосы на его голове вздымаются, как дым. В прорези белой рубахи — за воротом — ярко зеленый кашемир персидского узора. Колоритная фигура!

Квартира их в этом веселом квартале необычайно оригинальна. Три комнаты выходят в полукруглый коридор с матовым стеклянным потолком, внутри горят лампочки. Мы входим в кабинет с балкончиком; на котором я их видела. Сразу видно, что хозяева только что откуда-то приехали и вот-вот куда-то уезжают.

Громадный рабочий стол Веры завален книгами, бумагами, папками,

рукописями. И все покрыто городской пылью. Весенний ветер с балкона раздувает кисейные занавески. Дивно пахнет свежесваренным кофе. На уютной мягкой мебели брошены платья, пальто. Масса интересных антикварных вещей, привезенных отовсюду.

И, несмотря на беспорядок, в кабинете интересно, уютно, красиво. Хозяева — деловито-веселые, на вид беззаботные, хотя Вера много работает и вечно занята. После расспросов о Москве, о друзьях, о родне, о делах, после обмена сувенирами, моими — из Москвы, Вериными — из Флоренции, садимся среди чемоданов пить кофе с чудным домашним фруктовым пирогом, который Вера успела сунуть в духовку и вовремя вытащить...

Григорий Михайлович интересуется театральной жизнью в Москве и, заразительно смеясь, рассказывает о том, как он играл роль Христа в каком-то фильме.

Я уже не в силах вести общий разговор и начинаю вводить свою тему.

— Эдит! — восклицает Вера. — Ну конечно, мы были очень дружны с ней! Часто встречались. Она ведь очень любила слушать, как Гриша пел старинные романсы. Она восхищалась им ужасно...

Вера вспоминает интересные и смешные эпизоды из их встреч. Хорошо говоря по-русски (мать ее была русской), она все же грассирует.

— А вы знаете, что это была настоящая героиня! Она же совершила подвиг... Это было во время войны, — начинает вспоминать Вера. — Ее пригласили в маленький германский городок, в лагерь для военнопленных французов. Она поехала со своей секретаршей. Выступила перед заключенными французами, чем доставила им громадную радость. А потом попросила разрешения у коменданта лагеря сняться на память с заключенными.

Комендант разрешил, и Эдит увезла в Париж свою фотографию среди 120 пленных. Вернувшись, она отдала увеличить этот снимок. Заказав 120 фальшивых документов, она вырезала из общей фотографии каждое лицо отдельно, наклеила на документ и сумела достать для каждого печать полицейского управления.

А потом снова попросилась на концерт в тот же лагерь. Ее пригласили, и в чемодане с двойным дном она провезла 120 документов, которые сумела ловко передать заключенным вместе со своими автографами. Если бы немецкое командование узнало об этом, она была бы расстреляна на месте. Вот какая была Эдит! И представьте себе, что она терпеть не могла, когда кто-нибудь начинал разговор об этом... Вот! — закончила Вера, наливая мне горячего кофе. — У вас есть «Баллада о солдате», а у нас «Баллада о ста двадцати», могу вам подарить эту «балладу»...

Я сидела пораженная. Эдит предстала передо мной совсем в ином свете. Это было мало похоже на ее взбалмошную, хаотическую натуру. Здесь уже нужно было нечеловеческое хладнокровие, выдержка и бесстрашие... Совсем недавно я узнала о том, что передавая эти документы военнопленным, Эдит выполняла поручения партизанского штаба, находившегося в Париже.

Мне пора было уходить, и я начала прощаться с милыми и интересными хозяевами этого монмартрского гнезда.

— Куда же вы сейчас направляетесь? — спрашиваю я.

— В Канны. На фестиваль. Едем смотреть вашего младшего сына, который сейчас в Каннах будет «шагать по Москве»!

Это было совершенно неожиданно. Я так оторвалась от Москвы, от своей семьи, что и забыла, что мой сын Никита снимался в картине «Я шагаю

по Москве». Я была счастлива, что друзья мои, здесь, где-то в самом сердце Парижа, напомнили мне о моей Москве и о моих ребятах...

Я спускалась по деревянной лестнице. Вера и Григорий Михайлович стояли на площадке.

— Обратите внимание, — кричала мне Вера сверху, — по какой лестнице вы сейчас спускаетесь! По таким ступенькам ходили Бальзак и Стендаль!.. Чувствуете? Вы слышите меня?

— Слышу, Вера, и чувствую. И спасибо за «балладу».

Я вышла на площадь Клиши. Был суетливый конец дня. Через час-два начнет подъезжать и подходить к этому кварталу театров в жажде развлечений публика... Спускаюсь в метро. Беру билет и, дождавшись поезда, вхожу в вагон. В этот час станции метро запружены народом/ Я протискиваюсь внутрь. Случайно освобождается место, и я сажусь напротив двух людей в рабочих куртках и беретах. Рядом стоят трое алжирцев, громко разговаривающих меж собой. Еще дальше, возле дверей, молодая парижанка держится обеими руками за своего молодого парижанина. Они стоят в толпе, обмениваясь короткими фразами, и неотрывно глядят друг другу в глаза, словно одни не только в вагоне, а вообще на всем белом свете...

Рабочие разговаривают, и я из разговора понимаю, что они едут на другой конец Парижа, на завод, во вторую смену. Я слушаю их и вспоминаю, что на окраине Монматра есть рабочий квартал. Он находится за огромным аляповатым белым собором, что венчает холм Монматра своим вытянутым белоснежным куполом. Это Сакре-Кёр — Святое Сердце. Я вдруг вспоминаю свое раннее детство в Париже, когда для меня, восьмилетней школьницы, Сакре-Кёр звучал по-русски, как Сахар-Кёр. И это было абсолютно точно, собор этот до того бел, что кажется сделанным из сахара. И вспомнив свои детские домыслы, я начинаю улыбаться. Один из рабочих с любопытством долго смотрит на меня, а потом, сам улыбнувшись, спрашивает:

— Ресю дэ бон нувель, мадам? (Получили хорошие новости?)

Неудержимо смеясь, я киваю ему. Ну конечно! У меня сегодня хорошие новости. Одна «Баллада о ста двадцати» чего стоит!..

Интересно, что в репертуаре Эдит Пиаф есть превосходная песня, которая мне кажется очень близкой к «Балладе о ста двадцати» по своему настроению и по характеру исполнения. Она поет ее сурово и четко и в то же время — мечтательно и очень эмоционально. Она называется «Я знаю как».

Послушай, друг, меня.

Ты в гневе безысходном
Не хочешь ли отсюда убежать?
Оковы сбросив с ног,
Вдруг снова стать свободным,
Чтоб новую на воле жизнь начать?
Я знаю, как согнуть железную решетку,
Разрушить стену и сломать засов.
Я знаю, как найти к свободе путь короткий,
В мир, полный счастья, солнца и цветов.
Так что же ты молчишь?
Неужели мне не веришь?
Ведь сердца не удержишь на цепи!
Я знаю, как открыть засовы, двери!

Я знаю, как уйти. Не веришь?..
Спи...

ТЕАТР ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ

Если выйти на Елисейские поля весенним утром, часов в пять, глазам вашим представится удивительная картина. Царствует пустота и тишина. Вдали Триумфальная арка, затянутая молочной дымкой. Громадные, как пагоды, столетние каштаны цветут только верхушками, роняя розовые лепестки.

Зеркальные витрины фирменных магазинов спят с открытыми глазами. Скамейки пусты и влажно-прохладны. А в палисадниках возятся, скачут большие черные дрозды. Их пересвист, не заглушенный шорохом шин, треском моторов, шарканьем подошв, сейчас ликует над главной магистралью Парижа. А в остальном — тишина, покои и относительно свежий воздух.

Под каштанами негр, в розовой рубашке и синих штанах, сметает в кучи опавший цвет и складывает его в тачку желто-розовым холмом, потом везет тачку, легко покачиваясь на ходу и насвистывая какой-то танцевальный мотив.

От Круглой точки Елисейских полей, которая сейчас погасила радужные фонтаны и готовится к дневному водовороту машин, я сворачиваю на широкое молчаливое авеню Монтень. Здесь здания какие-то строгие, насупленные и официальные. А в конце зеленеет Аллея Альберта I. Там уже набережная Сены со станцией бато-муш.

Там, в конце авеню, притаилось небольшое нарядное здание Театра Елисейских полей. С ним связан один из самых волнующих эпизодов жизни Эдит Пиаф, когда она, запершись в своей комнате, в течение целой недели звонила по телефону «всему Парижу». («Весь Париж» на языке актеров — публика, близкая артистическому миру.)

— Я выпускаю на сцену одного парня!.. Приходите послушать... Не пожалеете!

Парень был — Ив Монтан. Пятьсот гостей пригласила Эдит на его дебют в Театр Елисейских полей...

Впервые Эдит Пиаф встретила Монтана в Марселе, уже тогда о нем много говорили, а на его выступлениях в громадном, как сарай, марсельском театре не было свободных мест.

Эдит пишет в своих воспоминаниях о том, как она увидела Монтана в Париже в театре «А-бэ-сэ» в 1944 году. Он потерпел поражение в тот раз. Полумертвый от страха, вышел он на сцену в эксцентричном клетчатом пиджаке. С галерки кто-то крикнул: «Зазу!» (Насмешливое прозвище франта.).

И весь театр огласился хохотом. Публика унялась с трудом.

Рокочущая дикция, марсельский акцент, смешные ударения на «о», особенно в слове «гармоника», часто повторяющемся в его песенках, неумелая жестикуляция — все это роняло Монтана в глазах требовательных парижан.

Но Монтан был умен. Наученный первой неудачей, в следующее же выступление он вышел в коричневых брюках и рубашке с настезь распахнутым воротом. Словно заглянул в театр с улицы и попал на сцену. Это уже была находка, и публика сдалась.

Однажды, чуть позднее, Эдит предложили вести программу. Ей не хватало одного шансонье. Кто-то посоветовал ей послушать Монтана.

Назначен был день встречи в Мулен Руж. В пустом темном зале сидела одна Эдит. Монтан начал репетировать, и Эдит была поражена — от прежнего Монтана ничего не осталось. Ощущение силы и уверенности! Превосходные, сильные руки. Выразительное, красивое лицо. Голос глубокий и приятный. И — о чудеса! — никакого марсельского акцента! Он избавился от него путем упорного труда. Не хватало одного — репертуара...

Эдит стояла внизу возле сцены, на уровне щиколоток Монтана. На ее маленькую, невзрачную фигурку падала его громадная тень. Он говорил с ней с высоты своего величия, заложив руки в карманы, и отнюдь не поверил, когда она сказала ему, что песни его никуда не годятся, хоть он их здорово поет.

— Сейчас я буду репетировать, прошу вас остаться и послушать, — сказала она.

И Монтан сел в кресло, где только что сидела Пиаф, а она вышла на сцену. После репетиции Монтан пришел к Эдит в уборную — он был в восторге. Он был укрощен и с этого времени отдал себя целиком в ее руки.

Они сошлись, и между ними была даже любовь. Вернее, Эдит была влюблена, а Ив ревновал ее, требуя главным образом, чтобы все свое свободное время она отдавала его творчеству.

У нее был прескверный характер. Она терзала Ива, постоянно вызывая его подозрения, инсценируя телефонные разговоры с мнимыми поклонниками.

Впоследствии Эдит всегда с восхищением вспоминала невероятную энергию и настойчивость Монтана. Иногда он звонил ей под утро и требовал, чтоб она сейчас же прослушала новую находку. И он приезжал и репетировал с ней интонацию той или иной песни.

Монтан часами пел перед зеркалом, часами разговаривал с карандашом в зубах для исправления дикции. Он был взыскателен к себе, как никто, и, как никто, трудолюбив. И потому все, с чем он приходил на эстраду, было продумано, отделано и закончено.

Но личные взаимоотношения между ними пошли вразрез с творческими. В книге «Моя жизнь» Эдит рассказывает об одном, очень характерном для их жизни эпизоде.

Монтан требовал, чтобы Эдит не встречалась с автором текстов Анри Контэ, которого он не выносил. Но однажды по телефону она пригласила Контэ к себе, зная, что Монтана в это время не будет. Монтан случайно подслушал этот разговор и, сделав вид, что уходит, спрятался где-то в квартире.

Контэ пришел. Они сидели в гостиной за чашкой кофе, беседовали на разные темы, и вдруг Контэ заговорил о Монтане.

— Он абсолютно лишен таланта, этот глупый бойскаут, и никогда ничего не добьется!

И Эдит из озорства поддержала его:

— Ты прав, Анри! Я, конечно, ошиблась. Это ничтожество!

Уходя, Контэ взял с нее слово, что она перестанет тратить время на бездарного Монтана.

— Он никогда не соберет публики в зале — уверял он.

Проводив Контэ, Эдит вернулась в гостиную. Там неподвижный, бледный, как снег, стоял Монтан. Окровавленной ладонью он сжимал раздавленный фужер.

— Никогда не повторяй такого. Иначе я могу не сдержаться.

Ты его принимала так красиво, что мне хотелось убить тебя на месте!

И тут Эдит пообещала ему, что она устроит его собственный выход на сцену. Она выполнила обещание. Она сама написала ему тексты песен «Ее глаза» и «Почему я так люблю». Были готовы еще две песни — «Боксер Джо» и «Большая Лили».

В октябре 1945 года Монтан был готов для дебюта.

— Я выпускаю на сцену одного парня. Приходите посмотреть... Не пожалеете!

«Весь Париж» пришел в этот вечер в Театр Елисейских полей. «Весь Париж» ждал нового шансонье. Эдит сидела в ложе с семейством Монтанов.

«...Когда он появился в светящемся круге прожекторов, — пишет Эдит, — ничто не шелохнулось в зрительном зале. Париж встретил дебютанта ледяным молчанием. Ив начал петь.

Со спертым дыханием, с бьющимся сердцем я слушала его и молила небо помочь ему: он этого заслужил!

Ив спел последнюю песню и стоял перед зловещим немым залом, ожидая приговора. Зубами я разорвала на полоски носовой платок. И вдруг сразу — тяжело покатались аплодисменты и неистовые крики «браво»!

Зал ревел. Это был триумф, о котором потом месяцами говорили в Париже. Тот, кто присутствовал на этом вечере, не забудет его никогда. Я сидела и спрашивала сама себя: может быть, теперь Ив Монтан простит мне все тревоги, что я ему принесла...»

Иду мимо Театра Елисейских полей и в это весеннее утро вижу осенний вечер триумфа Монтана. Тогда каштаны сбрасывали последние желтые листья-лапы на тротуары. Негр сметал в тачку не розовый цвет, а шуршащую, сухую листву. Утро начиналось не в пять часов, а только в семь...

Но Эдит тогда была молодой — ей было только тридцать. И это была пора самого расцвета ее надежд и сил. И сколько их вложила она в Монтана!.. Вспоминает ли он когда-нибудь об этом?»

ГИМН ЛЮБВИ

История одной любви. Любви, которая пришла ко мне в тридцать лет и сразу стерла мое прошлое, все тяжелые происшествия, все потасовки, все любовные приключения без завтрашнего дня.

Прошлое. Сколько раз оно не давало мне спокойно уснуть! Отец, заставлявший петь на улицах. Его любовницы, из которых одни били меня, другие льстили мне. Первая любовь — Маленький Луи. Сутенер Альберт с улицы Пигаль, который чуть не пристрелил меня. Лепле, которого убили. Раймон Ассо и Поль Мерис и еще многие, которые пользовались мной, надували меня или играли мной.

Все это было лишено красоты.

Вот почему мне необходимо рассказать о Марселе и о себе. Я всегда молчала о двух годах живни подле него. Я даже старалась о них не думать...

Сколько было разговоров! За нами шпионили. О нас говорили мерзости. Меня обвиняли в том, что я увела мужа от жены, лишила отца детей.

А это была моя настоящая и единственная любовь. Я любила. Я боготворила... Чего бы я не сделала, чтоб он жил, чтобы весь мир узнал,

как он был щедр, как он был безупречен.

Чем я была для него? Ничем! О, простите, я была знаменитой певицей. Очень знаменитой. Но морально я была безнадежна. Я считала, что жизнь — это издевательство, что мужчины — животные, и единственно, чем стоит заниматься, — смеяться, пить и безумствовать в ожидании смерти и чем скорей она придет — тем лучше.

Только Раймон Ассо пытался заставить меня переменить существование, но я его обманула. У него не хватало сил удержать меня. По правде говоря, я его не любила. Я попросту обратилась к нему за помощью.

Марсель Сердан заставил меня переродиться. Он избавил меня от горечи, которой были отравлены мое сердце и мозг. Он открыл во мне спокойствие, нежность, доброту. Он зажег яркий свет в моей душе... Меня спрашивали: «Как вы могли полюбить боксера? Это же сама грубость!»

Грубость, у которой стоило поучиться деликатности!..»

Они познакомились в Нью-Йорке. Сердан готовился к своему первому матчу, Эдит — к выступлению на сцене. Двое французов, которым предстояло победить Америку. Началась дружба, постепенно она перешла в преданную любовь.

В книге «Моя жизнь» Эдит часто говорит о среде, в которой проходили ее детство и юность. И пожалуй, единственный, кто сумел освободить ее от клейма, поставленного этой средой, был чемпион бокса Марсель Сердан. Профессия боксера требует постоянной дисциплины и суровых и непрерывных ограничений. Видимо, этой дисциплине пришлось подчиниться и Эдит, которая не ложилась спать раньше четырех утра и не вставала раньше двух часов дня.

Но Марсель, никогда ничего не читавший, кроме «комиксов», теперь возле Эдит, которая к тому времени была уже достаточно развитой, стал читать лучших французских и английских авторов. Поначалу это было трудно.

— Зачем ты в такую дивную погоду сажаешь меня за книги? Я мечтаю пошататься по городу...

А потом он начал собирать библиотеку и «шталался» уже только по набережной букинистов.

Марсель преклонялся перед талантом Эдит. Он не пропускал ни одного ее концерта. Она всегда видела его стоящим возле кулис у выхода на сцену. Он сам раздвигал и задвигал занавес и негодовал, если шумели во время ее исполнения.

— Вы можете себе представить, а?.. Эдакая кроха... Огрызок, а не женщина, и такой голос! Как она может так петь!.. — каждый раз недоумевал он, обращаясь к первому близстоящему.

Этот гигант, обладавший сокрушительной силой, был на редкость чутким, деликатным, скромным человеком необычайной доброты.

Однажды он должен был драться со старым боксером, который явно не мог уже с ним состязаться. Перед тем как нокаутировать противника, Марсель вдруг услышал его шепот:

— Дай мне еще пожить, Марсель. Дай пожить... И тогда Марсель, удовлетворившись легкими ударами, покинул ринг под неистовый свист публики. Он ушел посрамленный, с ликующим сердцем. Эдит не могла понять, как это случилось.

— Знаешь, Диду, я никогда в жизни не был так счастлив, как в ту минуту, когда меня освистали. Надо быть добрым, Диду! Это хорошо!

А в другой раз, после концерта в театре «А-бэ-сэ», Эдит вышла на улицу в дурном расположении духа, и, когда толпа нахлынула с рукопожатиями, приветствиями и вечными просьбами автографа, она грубо оборвала всех:

— Оставьте меня в покое! В машине Марсель сказал:

— В первый раз, Диду, я в тебе обманулся.

— Я смертельно устала, Марсель... Держусь кончиками нервов...

Марсель взглянул на нее:

— Но ведь эти люди ждали, чтобы взамен твоего автографа принести свою любовь, восхищение и преклонение. Вспомни, как ты в свое время ждала прихода этих людей, и представь себе на мгновение, что ты их ждешь, а они не идут и не придут никогда...

С тех пор Эдит ни разу не отказала в автографе, как бы она ни устала.

Есть еще один занятный эпизод, говорящий о преданности Эдит и о ее детской, фанатической вере в чудеса, которой она очищалась от всей грязи и пороков, пока находилась в той страшной среде.

Однажды перед всемирным состязанием по боксу, где Марселю Сердану предстояла встреча со знаменитым боксером Тони Зале, Эдит предложила Марселю съездить в Лизиё, к базилике святой Терезы, перед которой когда-то бабка Гассион командой из публичного дома вымаливала исцеление для своей внучки.

Они поехали. Марсель стоял в сторонке и смотрел, как Эдит на коленях перед статуей святой Терезы молилась вслух:

— Я *ничего* не прошу у вас для себя самой. Наоборот, оставьте мне все страдания и все несчастья. Я их заслужила! Но ему, — она указала рукой в темный угол, где прятался смущенный боксер, — ему помогите! Вы же знаете все его достоинства. Все трудности его жизни. Ему в этом бою, от которого зависит все, даруйте победу!

Эдит страстно верила в эту победу. Сидя в публике во время матча, она шепотом повторяла, обращаясь к святой Терезе:

— Вы мне обещали победу... Слышите? Не забудьте...

При этом она так колотила кулаками по шляпе какого-то зрителя, сидевшего ниже, что, когда матч закончился триумфом Сердана, господин встал, снял шляпу и протянул ее Эдит со словами:

— Предлагаю вам свою шляпу... В том состоянии, в которое вы ее привели, она мне больше не нужна. А вам она послужит воспоминанием о вашем темпераменте и вашей радости!..

Марсель Сердан погиб. Он погиб вместе со всей командой в авиационной катастрофе под Нью-Йорком. В этот вечер Эдит, которая ждала его в Нью-Йорке, должна была выступать в театре-кабаре «Версаль».

Известие о катастрофе было равносильно смертельному удару. Эдит находилась в состоянии, близком к помешательству или к самоубийству.

Но выступать она должна была непременно. От этого зависели дела и жизнь ее партнеров-хористов, оркестрантов, дирижера. Полуживую, истерзанную, ее принесли на носилках и поставили перед еще закрытым занавесом. Ей предстояло найти в себе силы встретиться с публикой, которая пришла сюда развлекаться.

— Свое выступление я посвящаю светлой памяти Марселя Сердана... — хрипло прозвучал голос, исходивший из белой, полуживой маски с бонапартовским лбом.

Она пела. Она пела, как никогда больше. И это была та одухотворенность исполнения, та торжественность и мощь

подлинных чувств, которая заставляет тысячу человек превратиться в одного. Ее маленькая, невзрачная плоть, одержимая величайшим духом, сообщала бессмертие ее громадной любви. Любви, погибшей во цвете лет. Со сцены певицу унесли в глубоком обмороке.

Пела она «Гимн любви» на свои собственные слова, положенные на музыку Маргерит Монно.

Пусть падет лазурный небосвод,
Пусть разверзнется земная твердь,
Если в сердце любовь живет —
Не страшна мне даже смерть.
У меня других желаний нет —
Мне бы только вечно быть с тобою,
И за счастье, счастье это —
Заплачу любой ценою.
Я покорной и смиренной
Побреду на край вселенной,
Если ты прикажешь мне.
Я с небес луну достану,
Для *тебя* кем хочешь стану,
Если ты прикажешь мне.
Откажусь совсем от жизни,
От друзей и от отчизны,
Если ты прикажешь мне.
И быть может, я смешная —
Проживу весь век одна я,
Если ты прикажешь мне.
Если вдруг покинешь ты меня
Иль в могилу от меня уйдешь,
Не останусь жить ни дня,
Как бы ни был день хорош.
Вечность мы с тобою обретем
Там, где звезды любящих встречаются,
И в чертоге голубом,
Может, бог нас обвенчает.

НА КРАЮ ПРОПАСТИ

Это была полная потеря человеческого и женского достоинства. После смерти Сердана отчаяние довело Эдит до больницы, и там ей стали впрыскивать морфий для успокоения нервов и от бессонницы.

Для такой повышенной чувствительности было достаточно нескольких уколов, чтобы Эдит превратилась в морфинистку.

Ежедневная порция была уже необходима как воздух. Без нее невозможно было ни жить, ни работать. Перед каждым выступлением трясущимися, как у пьяниц, руками она вкалывала себе сквозь юбку и чулок нестерилизованным шприцем «дозу» и тогда уже с расширенными зрачками, бледная от возбуждения становилась под прожекторы, чтобы исполнить блестяще, с нервом, с аффектацией свои песни, а потом, едва дотащившись до кушетки в уборной, упасть полумертвой и медленно приходиться в себя — то есть в отчаяние, одиночество и тоску.

«Доза» стала расти. Начались признаки невменяемости. Эдит снова

попала в больницу. Ее медленно начали отучать от наркотиков. Но нашлась сердобольная подружка, которая украдкой таскала в больницу ампулы. На четвереньках Эдит залезала под кровать, нашаривала там шприц и вкалывала отраву.

Излечение шло медленно, со страданиями, воплями, катанием по полу с пеной на губах. Но все же Эдит стала отвыкать от морфия.

В больнице, в отделении для умалишенных, она впервые столкнулась с безумием. Это произвело на нее незабываемое впечатление. Уже через много лет впечатление это послужило созданию одного из самых блестящих произведений на слова Ривгоша и музыку Маргерит Монно — «Белые рубахи». Эдит пела эту песню с потрясающей силой, разыгрывая ее, словно одноактный спектакль с монологом шекспировской Офелии.

Уже три года, как она,
Она сюда помещена.
С умалишенными она
Сюда помещена.
И из-за них она сама
Сошла с ума.
И сколько здесь теперь врачей,
Но ни один не верит ей,
Когда она врачам в ответ
Кричит и плачет: «Нет!
Нет, нет! Я не сошла с ума!
Нет! Нет!»
И каждый раз — рубахи белые,
На всех врачах рубахи белые,
Они идут и все подряд
Ей говорят:
«Нет. Нет, вы не сошли с ума, Нет! Нет!»
А ведь на ней рубаха тоже,
Она на платъице похожа,
Пусть это будет платъе. Платъице.
С цветами белыми, как снег.
С цветами, белыми под солнцем.
В руках цветы. Красивы ручки.
И пальцы тонкие поют-Поют... Поют...
И восемь лет уже она,
Она сюда помещена.
С умалишенными она
Помещена.
Открыт секрет, —
Сомнений нет,
Она возьмет назад
Все восемь лет.

Конечно, эта ночь придет,
Она обратно украдет
Все восемь лет.
Вот они, руки, белые руки,
Белое платъе, опять рубахи!
«Я же сказала! Я же здорова.
Нет! Я не сошла с ума!

Я не сошла! Я не сошла!
Нет, я не сошла с ума!
Я же сказала,
Что все вернется,
Все засмеется,
Белые руки будут смеяться,
Смеяться, смеяться...
Будут любить,
Любить навсегда,
Ха-ха, всегда!
Ха-ха, всегда!
Ха-ха-ха, всегда!»

Эту песню Эдит исполняла незадолго до смерти и всегда с большим успехом...

...Доктор Миго, лечивший Эдит, был очень доволен, когда, войдя в палату и задав ей вопрос: «Может быть, хотите еще один укол? Последний?» — услышал в ответ глухой крик: «Ненавижу! Ненавижу морфий! Хочу быть здоровой!»

Эдит вспоминает, что в эту пору ее спасло то, что она постоянно видела в воображении последние минуты своей матери, бросившей ее двух месяцев от роду. Мать умирала в дешевом номере гостиницы на Пигаль. Вытянувшись на грязной койке, она бормотала: «Дозу! Дайте дозу!» Четыре раза дочь пыталась спасти ее, отправляя в больницу, и каждый раз старуха снова падала в пропасть.

Эдит вышла из больницы. Целых восемь месяцев, запершись у себя в комнате, завесив окна шторами, отказавшись от друзей, от жизни, от работы, она жила в безумном страхе начать все снова.

Но пришел тот день, когда она открыла шторы, распахнула окна, в комнату ворвались лучи солнца, и Эдит вернулась к жизни — к песне.

ЧТО-ТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАРУШЕНО!

В тридцать семь лет Эдит вдруг вышла замуж. Мужем ее стал поэт и певец Жак Пиль. Они знали друг друга давно, постоянно сталкиваясь на артистических путях то в Париже, то в Ницце, то в Брюсселе. Она всегда нравилась Жаку, но он ее побаивался.

Как-то в Нью-Йорке он принес сочиненную для нее песню. Она называлась «Ты всюду со мной».

Ты всюду со мной
Для всех неприметно,
Неизменно со мной.
Пытаюсь избавиться — тщетно.
Ты все же всегда со мной.
Ты всюду со мной
Для всех неприметно,
Я кожей чувствую тебя.
Я чувствую твое движенье,
В мороз и зной
Твое прикосновенье.
Ты всюду и всегда со мной.
Для посторонних неприметно,

Но неизменно ты со мной.
И ничего не поделаешь!

Эдит была пленена не так самой песней, как исполнением Жака. Он так спел ее, что она звучала признанием — пылким объяснением в любви. Эдит впоследствии пела ее всегда именно так, как пел Жак.

Вскоре он сделал ей предложение. Она была счастлива. Быть может, в первый раз за всю ее жизнь человек отнесся серьезно к любви и долгу, гордясь тем, что может назвать Эдит Пиаф своей женой.

Они обвенчались в Нью-Йорке, в маленькой французской церковке. И в первый раз в жизни она с трепетом надела на себя венчальное платье бледно-голубого цвета. Она считала себя не вправе надеть белое. Для Эдит, для этой маленькой, измочаленной жизнью француженки, венчание в церкви было событием почти недоступным. Она за свои миллиарды франков, которые зарабатывала голосом, могла иметь все что угодно, кроме самого обыкновенного, нормального брака по любви с допотопным ритуалом венчания перед алтарем.

Дружкой Эдит была любимая ее подруга Марлен Дитрих. Она подарила невесте золотой крестик, украшенный изумрудами, который Эдит не снимала с груди всю жизнь. В первый раз человек надел ей на палец обручальное кольцо. Это для нее было просто чудом. И она сказала мужу, что если когда-нибудь он снимет с пальца свое кольцо, то они должны будут расстаться.

После свадьбы Эдит и Жак еще некоторое время выступали в Нью-Йорке. В одну из своих гастролей она привезла в Америку песню на свои слова — «Жизнь в розовом цвете». Песня имела такой огромный успех, что театр, находившийся на Бродвее, получил это название. Но в этом театре выступал Жак Пиль, а Эдит выступала только в театре «Версаль».

Жизнь Эдит Пиаф и Жака Пили складывалась так, что они выступали всегда врозь, в разных театрах, разных городах и разных странах. Может быть, это было и лучше — с характером Эдит трудно было ужиться. Но однажды Эдит, не имея ангажемента, зашла к Жаку в уборную перед концертом. Он гримировался. Гримерша сказала ему уходя:

— Не забудьте снять обручальное кольцо перед выходом, месье Пиль.

Эдит услышала это, и что-то мгновенно оборвалось в ней. Конец! Конец их любви, конец ее безграничному доверию.

Она ничего не могла с собой поделать — болезненное суеверие встало между ней и Жаком. Им пришлось расстаться. Без сцен, без упреков, без шума они просто разъехались по гастролям и больше не встретились.

По существу, они не были связаны ничем. Жизнь на колесах. Ни дома, ни семьи, ни интересов вне сцены так и не создалось.

От природы оба они были холостяками.

И снова одиночество, тоска и неудовлетворенность. Эдит стала суеверной до смешного. Видимо, такой огромный талант, такой неуемный темперамент редко уживаются с нормальной, здоровой психикой. Что-то должно быть нарушено. У Эдит нарушение пошло в сторону мистицизма, который, кстати, был всегда во Франции в моде и находил место даже в самых культурных слоях общества. Меня приводил в недоумение вопрос, который я постоянно слышала в Париже: «Под каким созвездием вы родились?» И когда я отвечала, что не имею понятия, люди удивлялись и смотрели на меня, как на отсталую женщину...

Эдит с детства находилась в среде, где торжествовало наряду с

развратом, преступлениями и невежеством суеверие и мистика. И это осталось на всю жизнь. В книге «Моя жизнь» она подробно пишет о том, какое значение имели для нее предсказания астрологов (их в Париже тьма-тьмущая, и они там богатейшие люди!).

Эдит выбирала в секретарши только женщин, родившихся в месяце, отмеченном созвездием Рыбы. Это созвездие соответствовало созвездию Стрельца, под которым она родилась сама, и ей казалось, что с такой секретаршей ей будет в жизни везти.

Счастливым днем ее был четверг, а воскресенье — несчастливым. Она верила в счастливые начальные буквы С и М, и если ее знакомили с человеком, имя которого начиналось на эти буквы, она настораживалась. Она верила в спиритизм, вертела столы, разговаривала с загробным миром, вызывая духов своего отца, Сердана, своей дочери. Перед каждым концертом выполняла целый ритуал — сгибалась до пола, касаясь его руками, показывала пятым и вторым пальцем правой руки рожки злему духу, во избежание неудачи гладила свой спиритический стол, который шофер возил в машине на каждый концерт. Эти и множество других чудачеств одолевали Эдит. Амулеты, талисманы, заветные безделушки лежали в ее сумке. Она отдавала много времени и сил соблюдению всяких суеверных обычаев. И все это были следы той ненормальной страшной среды, в которой она родилась и выросла.

Сейчас грустно и смешно говорить об этом, но когда вспомнишь, что сделала эта талантливая актриса для искусства Франции, то сбрасываешь со счетов все ее человеческие недостатки, всю дисгармонию на ее жизненном пути, все странности и дикость, необузданность и истеричность, невежественность и малограмотность. Она была непревзойдена и неповторима в своем высшем — в искусстве петь!

СНОВА НА КРАЮ ПРОПАСТИ

Здоровье Эдит сильно пошатнулось. Участились приступы ревматизма, которым она страдала с юности. Ноги переставали слушаться. На каблуках стоять было невыносимо, Эдит стала выступать в простых черных сандалетах. Это было уродливо, но по крайней мере не больно. А публике было абсолютно все равно, в чем Эдит выходит на сцену, лишь бы пела!..

К тому же она дважды попадала в автомобильные аварии. Оба раза с Шарлем Азнавуром, который водил тогда ее машину. Первый раз они ехали в открытой машине, и, когда Азнавур налетел на телеграфный столб, их обоих выбросило далеко в поле. Машина разбилась вдребезги, а они оказались невредимыми. Во второй раз не обошлось так удачно. У Эдит были помяты ребра и сломана рука. Она долго лежала в госпитале. И с той поры к ревматизму прибавились ноющие боли в подреберье и в правом локте.

После разрыва с Жаком Пилем снова одиночество и тоска довели Эдит до отчаяния, и она начала пить. Алкоголь заменил «дозу». Она не могла выступать, не опрокинув несколько рюмок коньяку перед выходом.

Пела она все так же великолепно. Голос звучал безукоризненно. К репертуару прибавлялось все больше и больше новых песен. Марсель Блистен рассказал мне, что к ней постоянно приходили авторы с предложениями новых песен.

Однажды к Эдит пришли два молодых автора с песенкой. Она была любовная и, что называется, «голубая». Эдит внимательно выслушала

авторов. Потом встала между ними и, положив им руки на плечи, сказала:

— Песня у вас прелестная. Мне нравятся и музыка и слова. Но, дорогие мои друзья, эта песня не для меня. Она слишком хороша и светла... Ну, посмотрите на меня! Кто мне поверит, что я могу быть счастлива в любви!.. Ведь если я выйду на публику с такой радостной и светлой мелодией, мне же никто не поверит!.. Нет, друзья, моя тема — сарказм... Мне жизнью уготованы только поиски любви. Всегда только поиски. Одни поиски... А песня ваша хорошая, и ее будут петь. Но только не я...

Репертуар Эдит становился все более трагичным. Ей теперь удавались, как никому, песни одинокой, брошенной женщины. Песни, полные сарказма, тоски и жажды светлых дней.

Публика продолжала боготворить ее, но теперь алкоголизм разрушал здоровье.

Временами она бросала пить, а потом начинала снова. И в 1953 году в Париже, в казино де Руайо, имел место небывалый скандал. Эдит выпила перед концертом лишнего, и, когда оркестр проиграл вступление, она начала петь вместо слов «шагаю под непогодой» — «шалаем, балуем на воду». Эдит была зверски пьяна. Кто-то из публики крикнул:

— По-каковски она поет?

Публика не могла примириться с падением кумира. Поднялся невообразимый скандал. И те, кто был от восторга на ее концертах и, захлебываясь, колотил в ладони, сейчас свирепо орали и топали ногами: «Вон! Вон с эстрады!»

Эдит увезли в больницу. Она была невменяема. Она видела чертей, разговаривала с духами, рыдала и пела ночами, бегала по коридорам от воображаемых гномов. За ней установили круглосуточное дежурство. Боялись, что она в припадке выбросится в окно.

К тому же теперь у нее появились приступы боли в печени, пораженной алкоголизмом. Видимо, начинался цирроз.

Она пролежала около трех месяцев. Но на этот раз она вышла из больницы совсем здоровая и счастливая тем, что вновь может работать. Только в этом она находила спасение от пропасти, по краю которой ходила.

«ЧЕЛОВЕК НА МОТОЦИКЛЕ»

Я никогда не видела кошек такой породы. Это кот светло-коричневой гладкой масти с черными подпалинами на животе и лапах. Он сидит в передней на стуле и смотрит на меня обиженными светло-голубыми глазами. Зовут его Люпио.

Его хозяйка Аннет Видаль, крохотная семидесяти летняя секретарша покойного Анри Барбюса, принимает меня в своей квартирке.

На горбоносом лице, словно высеченном из желтого камня, блестят живые черные глаза.

— О-о-о! Какая прелесть! — восклицает она, всплеснув трясущимися руками, когда я разворачиваю пакет с подарками от москвичей. Тут банка зернистой икры и большая нарядная коробка шоколада «Поздравляем с Первомаем!».

— Сэ формидабль! (Это великолепно!) — Она, как ребенок, радуется тому, что в Москве ее помнят. Из передней палевый кот недвижно, словно чучело, глядит на нас обиженными глазами.

Из окон однокомнатной квартирки на бульваре Макдональд виден

весенний рабочий квартал. Здесь живет эта крохотная француженка-коммунистка. Она до сих пор работает по архивам Барбюса. По воскресеньям сидит на улице и продает газету «Юманите — Диманш». Она полна энергии и работает секретарем ячейки по месту жительства. Она сотрудничает в газете Республиканской ассоциации бывших участников войны.

Ее искреннее радушие сразу подкупает вас, и вы чувствуете, что попали к другу. А это редко здесь, в Париже.

Мы садимся к столу. Каждые десять минут у двери звонят, и Аннет стучит своими старомодными каблучками в направлении передней. И слышится:

— О-о! Мадам, ландыши! А вы знаете, у меня гостя из Москвы... И это так приятно... Москвичи меня помнят!.. Спасибо за ландыши...

Она возвращается с букетиком ландышей. Эти букетики у нее стоят повсюду. Традиционные ландыши к Первому мая.

— Вы видите! Что делается... Соседи закидали меня цветами.

И дрожащими руками она сует еще один букетик в глиняную чашу на столе, уже полную цветов.

Кажется, никто больше не придет. Мы садимся с Аннет за стол. Но тут кот вдруг тяжело бухается со стула и идет к двери, требуя, чтобы его выпустили погулять по крышам Парижа.

— О-о! Но ты же недавно гулял! — Аннет все ясе выпускает кота.

Наконец-то можно посидеть спокойно. Беседуем о Москве, о новостях. Потом я сажусь на своего конька.

— Вы хотите писать о ней? Но она же умерла, бедняжка...

— Тем более, мадемуазель Видаль, мне хочется, чтобы об этой гениальной певице осталась память не только во Франции.

— Во Франции, к сожалению, о ней уже начинают забывать. Хотя никто не заменит ее на сцене... Вы знаете, я мало слышала ее, но однажды в Каннах, на большом фестивале песни, она меня поразила. Я ведь сама из Канн! Так вот, пошли мы в театр с подружкой. И когда увидели эту особу в черном трикотажном платьишке, моя подружка заявила: «Не на что смотреть! Пойдем отсюда». Но публика вдруг так начала аплодировать и кричать, что нас взяло любопытство. Минут пять ей не давали раскрыть рта. А потом оркестр просто врзался в это неистовство и начал интродукцию. И представьте, это было волшебство!

Эдит пела довольно страшную песенку о мотоциклисте. И она так артистично изображала этого человека на мото, со всеми ему присущими движениями... Мне просто казалось, что я сама мчусь куда-то, неизвестно куда, и подо мной дрожит эта Дьявольская машина...

Ах, какой голос был у Эдит Пиаф! Какая экспрессия... И самое интересное было то, что с первыми звуками оркестра лицо ее преображалось... Это — чудо, когда уже не видишь ни фигуры, ни сутулости, ни изможденности... Все ваше внимание сосредоточивалось на том, что она поет, чем хочет вас удивить, чем хочет поделиться с вами. И вы верите ей и вместе с ней горюете, жалеете, радуетесь... Дивная была актриса!

Мы прощались с Аннет Видаль в передней, когда под дверью басом заголосил палевый кот. Она впустила его, и он снова уселся на стул, так, словно и никуда не уходил, до того неподвижна и равнодушна была его физиономия.

— Прощайте, мадам! Благодарю вас за подарки! Передайте москвичам огромный привет и благодарность... Как бы хотелось снова попасть в

Москву... Но возраст... — Она, улыбаясь, развела сухими маленькими руками...

Я нырнула в кафельные коридоры метро с одним только стремлением — поскорее зайти в магазин и купить пластинку с песней о мотоциклисте.

Сиюю, жду поезда. Перед глазами могучая цветная реклама какой-то фруктовой воды. Право, можно только дивиться изобретательности французов в деле рекламирования товаров. На огромном зеленом листе, среди неньюфаров на пруду сидит колоссальная лягуха:

«Оставьте простую воду лягушкам, а сами пейте чудесный прохладительный напиток!» И рядом бутылочка с напитком, конечно шипучим, конечно приторным, конечно подкрашенным в розоватый цвет. Поезд мчит меня в центр. Вот и остановка «Георг Пятый». Выхожу. Елисейские поля полны праздничного движения. Масса нарядной публики. Студенты продают букетики ландышей — они ранним утром набрали их в рощах под Парижем. Сегодня студенты могут кое-что подработать!

На Первое мая большие магазины не торгуют. Но магазин пластинок открыт. Я поднимаюсь на второй этаж. Продавщица предоставляет мне кабину. Отбираю пластинки. Запершись в кабине, слушаю, слушаю все концерты подряд.

Продавщица Жаклина подносит мне все новые и новые. Часть я уже отобрала.

— А зачем вам так много? У нас больше двух никто и не покупает.

Я объясняю ей, в чем моя задача. Жаклина задумывается, а потом говорит:

— Знаете, здесь совсем недавно была секретарша мадам Пиаф с ее собачкой. Секретарше нужны были последние выпущенные диски с записями Эдит. Я поставила ей песенку «Морячок». И вдруг собака начала бегать по кабинам, искать свою хозяйку. Она обнюхивала стулья, прилавки, отчаянно скулила, лаяла и просто плакала. Пришлось прекратить прослушивание и увести ее домой. Мы все ужасно удивлялись такой памяти животного, ведь прошло больше полгода после смерти мадам Пиаф, а собака помнит... А вот люди начинают забывать. Мы, французы, легкомысленный народ, быстро забываем то, чем еще недавно наслаждались. Хорошо, что вы хотите писать о ней... Так вам что поставить? «Человек на мотоцикле»? Извольте...

И я услышала эту песенку.

Носил он сапоги, штаны из черной кожи
И курточку с орлицей на спине.
И он летел вперед, на дьявола похожий, —
Прохожие шарахались к стене!
Нечесан и немыт, с мазутом под ногтями,
С татуировкой, видно, давних лет,
Где сердце с надписью; «Любовь я отдал маме!» —
На бицепсе пунктиром синий след,
И Марилу он взял себе в подруги.
Девчонка хороша, во цвете лет.
Жалели все ее, и знали все в округе,
Что любит он лишь свой мотоциклет.
Однажды Марилу, рыдая, попросила
В тот вечер от нее не уезжать,
Плач заглушил мотор, и никакая сила

Его бы не сумела удержать.
Как дьявол, мчался он, не зная страха,
С горящими глазами. И вдруг —
Он за шлагбаум вылетел с размаху
На тот экспресс, который шел на юг.
Владелец сапогов, штанов из черной кожи
Навек умолк, с орлицей на спине.
Теперь не надо было всем прохожим,
Услышав треск, шарахаться к стене.

ДОРОГА ВАН ГОГА

Дорога вьется между полями, засеянными пшеницей, горохом, овсами. Только что прошел дождик, торцы шоссе синевато поблескивают, а листья на придорожных тополях словно покрыты лаком.

После спертого парижского воздуха здешний, чистый, деревенский, словно течет в легкие, вызывая дрожь, озноб.

Мы едем с Блистеном в машине в Овер на Уазе — посетить вангоговские места. Всю дорогу разговариваем. Сегодня среда — на шоссе нет большого движения. Едешь спокойно, это не «уикэнд», когда каждый раз сотни аварий под Парижем...

— Она зарабатывала миллионы... И тем не менее часто была без денег.

— Но куда же шли деньги, Марсель?

— Куда? Да бог знает куда! У нее за стол садилось каждый день не меньше двадцати человек... И вообще, видно, бережливость никогда не уживается в одном гнезде с щедростью, я не говорю о расточительности. Эдит многим помогала. Но часто тратила зря.

— Что значит зря? Швырялась деньгами?

— Нет. Скорее не отдавала себе отчета в своих поступках. Все всегда шло порывами. К примеру, однажды умирающий отец посоветовал ей приобрести землю, чтоб был кусок хлеба под старость. Эдит купила ферму. Два года она владела этой фермой, причем, кроме мучений и хлопот, эта ферма не приносила ничего. Она не могла там ни принять ванны — вечно неисправен водопровод, ни посидеть в тепле — неисправно отопление, ни позвать друзей — нечем было угостить. За два года ферма дала ей трех кур, двух кроликов, два кило фасоли и сотни кошек со всей округи. Она продала ее за бесценок.

Мы оба смеемся. Марсель продолжает:

— Как-то она решила обзавестись особняком. Купила дом в квартале Булонь. Роскошно его отделала, пригласив лучших художников. Черная мраморная ванна, роскошная спальня, обитая голубым атласом, с кроватью под балдахином — королевская кровать!

— И что же, она спала на королевской кровати?

— Нет.

— А где?

— У консьержки в комнатухе, на диване. Во-первых, она не могла привыкнуть видеть себя, с ее ростом и наружностью, в голубом атласе, а во-вторых, у консьержки было удобно подглядывать, кто идет.

— А зачем же тогда было городить все это?

— Фантазия. Наитие. Любовь к красивому... У нее был повар-китаец, так он очень удивлялся, что мадам любит варить себе кофе и наспех глотать его, стоя у кухонного стола и закусывая сдобным рогаляком из булочной напротив.

А в доме жила масса друзей, в гостиных спали на надувных кэмпинг-матрасах. Можно было зайти в любое время дня и ночи. Всегда был ночлег и ужин, как на вокзале. Я однажды заехал за ней на репетицию. Спускаемся с лестницы, на площадке, объединяющей два крыла дома, сталкиваемся с молодым музыкантом из оркестра Эдит. Он идет с какой-то молоденькой девушкой.

«Ты что же это тут делаешь? Я тебя что-то давно не вижу в оркестре», — удивляется Эдит.

Парень густо краснеет:

«Мы, мадам, видите ли, две недели, как поженились... И я... Ну, в общем... понимаете...»

Эдит расхохоталась:

«В общем, ты на мели? Так, мой мальчик! Ну что же, живите здесь ваш медовый месяц. А она хорошенькая! Э?...»

Мы едем. Мимо ползут французские деревни, похожие на маленькие города с одной-двумя улицами. Сады. Огороды. Церкви с кладбищами. Магазины, в которых продается все, что только может понадобиться, начиная с лекарств, кончая огородными вилами. И все в одном помещении.

Подъезжаем к настоящему городку. «Вальмон-дуа», — читаю я на придорожном столбе с планшеткой.

— Здесь родился Домье, — важно объявляет Блистен.

А вот и дом, в котором жил этот величайший сатирик-художник.

Я вылезая из машины. Дом простой, двухэтажный, с облупленной стеной и воротами, словно сарай. А напротив — на площади — памятник Домье из белого камня. Камень стерся от времени. На постаменте надпись: «Этот памятник был воздвигнут по подписке. Штат Марселя Вальмондуа. Почитатели и друзья. Август 1900 года». Бюст Домье когда-то, видимо, был очень хорошим. Сейчас лицо облуплено, нос совсем отбит. Я недоумеваю. Как это может быть? Великий мастер офорта! Великий сатирик! Политик!

Марсель не вылезает из машины. Ему, видно, самому горько видеть такое разрушение. Наверно, никак не соберутся отреставрировать. Городок маленький. Бедный...

Я снова забираюсь в машину, едем дальше. Снова поля, рощи, белые — кубиками — домики. Все ярко-зеленого, шпинатного цвета, даже глаз режет.

На полотнах французских пейзажистов начала двадцатого века эта природа осталась навечно. И наверно, как это все великолепно по осени!.. Еще деревня. Маленькое бистро. Мы останавливаемся, чтобы выпить кофе. Внутри никого. Час, когда все жители на работе.

Мы садимся на деревянный диванчик, отполированный спинами, заказываем кофе.

— ...Конечно, принципы Эдит могли шокировать, — рассуждает Марсель. — Они никогда не устраивали буржуазную мораль. Но если б она была маленькой буржуазкой, как и все остальные, могла ли она так петь? Так чувствовать? Так откликаться на каждую беду окружающих?..

Конечно, она жила вне условной морали. И все инстинкты у нее были природные. Пламенность восприятий. Вся жизнь — одно сплошное, большое сердце. И все — мимо принципов «хорошего воспитания». Искусство для нее было святыней...

Марсель прерывает рассказ. Тучный, добрый хозяин подает нам превосходный кофе. Марсель — блестящий рассказчик. Я вижу Эдит

живую, молодую. Вижу весь склад ее характера в самых неожиданных проявлениях.

— Как-то раз в гостях у нее среди артистической богемы сидел случайно попавший человек из деловых кругов.

Один из молодых актеров начал рассуждать о неблагодарной профессии певца. Он каждый раз должен вступать в бой со зрителем, которого боится. Эдит вдруг яростно, словно тигрица, обрушилась на коллегу.

«Как? Как же можно их бояться? Как их бояться, если они пришли! Ведь это значит, что они любят вас, хотят общения с вами... Когда я выхожу на сцену, вижу их, слышу, чувствую, как они меня ждут, как они слились со мной воедино, я каждый раз хочу создать что-то неповторимое! И их уже не сотни, не тысячи, не десятки тысяч, а не более чем один... Мой зритель, мой любимый, и я целиком принадлежу ему. Больше двадцати лет длится эта любовь между ним и мной. И каждый вечер я отдаю ему мою благодарность, мою любовь, мое дыхание... И только он один ни разу не обманул меня, не изменил мне и любит меня до сих пор!»

Все гости сидели, онемев от волнения и удивления. И тогда старый человек, такой далекий от мира искусства, встал, по лицу его катились слезы.

«Я знал, мадам, что вы — великая актриса, теперь я знаю, что вы — великая женщина!..»

Кофе выпит, рассказ досказан. Мы садимся в машину и едем дальше. Мы едем дорогой, которой когда-то в дилижансе ездил Ван-Гог.

Овер сюр Уаз. Городок Овер на реке Уазе. Вот здесь и провел последний год жизни сумасшедший гений.

Мы проезжаем небольшой собор, который я знаю по его пейзажам. Он сложен из серого камня, без украшений, стоит на холмике, обсаженном тополями. Сейчас они сильно подрезаны и топорщат к небу голые сучья, словно толстыми узловатыми пальцами ловят облака.

А весенние облака мчатся над Францией очень низко, и они ярко-белые и плывут, как перины.

Мы останавливаемся возле маленького отеля «Оберж Ван-Гог». Внизу ресторан, и если посидеть там за столиком, то вам разрешат подняться на второй этаж, в чуланчик, где жил Ван-Гог. Здесь он и умер... В тот день, когда Ван-Гог вернулся домой смертельно раненный, доктор Гаше, который лечил художника, уехал в Париж, и с Ван-Гогом остался сын Гаше — шестнадцатилетний юноша. На его руках той же ночью умер Ван-Гог.

Сын Гаше всю жизнь прожил одиноко в доме неподалеку от отеля, нередко вспоминая, как самое важное событие своей жизни, смерть Ван-Гога. Он собирал картины французских импрессионистов и умер четыре года тому назад глубоким стариком, оставив богатейшую коллекцию. Портрет отца Гаше работы Ван-Гога, в светлом картузе с русой бородой и светлыми глазами, все помнят по репродукциям.

Вот она, эта комната с косым потолком. Оконце прямо в крыше, из него виден кусочек неба и труба соседнего дома. В комнатке — стол, плетеный соломенный стул, который встречается на картинах художника. Железная кровать с витыми спинками. Сколько людей, сколько молодых художников благоговейно касались пальцами железных прутьев этой кровати, принявшей последнее дыхание крупнейшего мастера живописи.

Мы спускаемся по витой старой лесенке, даже стены ее хозяева не решаются ремонтировать. Облупившаяся, грязная краска осталась от тех времен, когда сам Ван-Гог спускался вниз со своего чердака, в полосатом костюме, с ящиком через плечо и с холстом и мольбертом в руках...

Садимся за столик. Здесь едят все туристы. Дела хозяев хороши.

Кусок жареной говядины, стакан красного вина, свежий латук, сыр и кофе с ликером нас вполне удовлетворяют.

Теперь путь наш лежит на кладбище, где похоронены братья Ван-Гоги. Снова накрапывает дождь. Кладбище на холме, пустынное, голое. Ни деревца. Одни каменные кресты да надгробия. У стены — две скромные могилы, сплошь заросшие плющом. На одной — каменная доска с надписью: «Здесь покоится Винсент Ван-Гог. 1853—1890». Рядом — такая же доска: «Здесь покоится Теодор Ван-Гог. 1857—1891». Вот и все. Ни цветов, ни обелисков. Плющ и серый камень, охраняющие покой Винсента и брата его Тео, без памяти любившего своего художника.

Мы ходим с Марселем по кладбищу. Мелкий дождь, вернее, мокрый туман ложится пылью на наши макинтоши.

— Тео, — задумчиво говорит Марсель, — Тео. С этим именем связаны последние минуты Эдит... — Он, конечно, вспоминает Тео Сарапо.

— Скажите, что заставило ее выйти замуж за такого молодого?

— Он сам. Он настоял на этом. Он любил ее, несмотря на то что она была уже немолода, больна и уродлива. Любил в ней несравненный талант. Был ее учеником. Она вывела его на сцену. Есть даже дуэт, с которым они выступали в концерте в театре Бобино... Она сама тогда написала для него шесть песен... Дуэт всегда имел самый большой успех.

Представьте себе такую пару — молодой красивый грек и рядом с ним маленькая пожилая француженка. Он поет о том, что любовь — это сплошное беспокойство, тревоги, заботы, а Эдит отвечает на каждый его куплет, что любовь — это свет и радость и хоть она заставляет страдать, но любовь — вечно новые истоки жизни.

И они так тонко и деликатно исполняли эту песенку и так естественно для их положения, что не были ни смешными, ни жалкими.

— А кем же он был до этого, Марсель?

— Парикмахером. Отец его был владельцем модной парикмахерской. И он должен был занять его место, а стал певцом. Она сделала его артистом. И надо отдать должное Тео, он был с ней идеальным до конца ее дней. Он действительно, как нежный, любящий друг, носил ее на руках, когда она уже не могла ходить. Он дал ей возможность не умереть в одиночестве, чего она всегда боялась. Бедная Эдит! Ей всю жизнь не везло! Но эти короткие последние месяцы внимания и дружеской, почти сыновней заботы Тео должны были возместить ей все потери и скрасить ее угасание... Но, конечно, в глазах буржуазной морали это был неслыханный позор и шокинг... А впрочем... Кто может теперь хоть что-нибудь поставить ей в упрек?..

День клонился к концу. Мокрый туман рассеялся. Косые солнечные лучи затрепетали оранжевыми бликами на серых камнях могильных памятников...

Мы возвращались уже в сумерках. Марсель молча вел машину. Я тоже молчала, с внутренним волнением вспоминая виденное и слышанное.

Мимо нас и навстречу шли легковые машины и грузовики. Один из них, с огромным брезентовым верхом, как старинный фургон, остановился на обочине дороги, и к нему с гиканьем и воплями неслись

мальчишки из соседней деревни. Видимо, это был какой-нибудь передвижной балаган или бродячий цирк. Я вспомнила песенку Эдит на слова Дрежа и музыку Согэ, песенку, которая называется «Дорога балаганщиков»:

Они понижут ночь
Дождем из серебра.
Тоску прогонят прочь
До самого утра. Танцуя на канатах,
Шагая на руках,
Рискуя получить
Поломку в позвонках.
Балаганщики!
И смех прорежет тьму,
Смех, смоченный слезами.
И пустят вслед ему
Тоску, тоскуя сами.
И, в кулаке зажав
Монетки по два су,
Уйдут, свой хлам собрав,
Чтоб ночевать в лесу.
У них остроты хлестки,
На них сверкают блески,
Надолго все останется
Пред взорами зевак.
Уснувшую деревню
Ночной обнимет мрак.
И людям будут сниться
Раскрашенные лица,
Что могут веселиться
Под ветром за пятак.
Балаганщики!
Дорога, поворот.
Фургон бросает тень.
Бог знает, где найдет
Их завтра новый день.
Они уходят прочь.
Они уходят в ночь!
Балаганщики!

ВЕРСАЛЬ

Я несколько раз встречала эту пару туристов — старая, как водокачка, американка, с искусственными зубами и волосами, с искусственным цветом лица, но в настоящих мехах и бриллиантах, и ее молодой супруг, упитанный, румяный, с черными усиками и фотоаппаратом на могучей груди. Он всюду фотографировал ее, а она — его.

Я видела их в Лувре. Он снимал ее на фоне огромного полотна Мейсонье «Отступление Наполеона». Она как бы шагала впереди серой лошади, на которой ехал верхом император. Потом она участвовала в пирушке «Каны галилейской» Веронезе, потом решила состязаться в красоте с Джокондой и, наконец, спустилась вниз и снялась на память

рядом с Венерой Милосской.

Меня удивляло только одно: этой чете миллионеров разрешали сниматься где только им вздумается. Если они платят за входной билет долларами, значит, они тут хозяева, пока не ушли. Но на этот раз я увидела нечто из ряда вон выходящее. Это было в Версале — в великолепной резиденции четырех Людовиков. Он снимал ее у фонтана Нептуна, где сгруппировались семь чудищ с человеческими головами и конечностями рептилий. Когда старая леди вскарабкалась на край фонтана и, приняв непринужденную позу, заулыбалась в объектив, то оказалась как бы восьмой фигурой на фонтане. Это было чудовищно, но молодой ее супруг даже не обратил внимания на то, в какой компании снимает он свою миллионершу. Если они удостоили компанию своим вниманием, значит, она чего-нибудь да стоит! Поснимавшись, они отправились во дворцовый музей. Мой путь, напротив, был из музея в парк.

Парк лежал, спускаясь площадками с водоемами далеко к горизонту, обрамленный густыми вековыми аллеями. В зеркальных водах плыли купы облаков, и мне казалось, что самое живое, самое реальное из всех впечатлений — отражение фасада версальского дворца, с его легкими белыми колоннами, слегка вытянутое, трепещущее на воде фонтанов рябью от весеннего ветерка. Оно было всегда, оно было живым свидетелем всего, что происходило здесь за века...

Я вышла за пределы резиденции дворца. На небольшой площади я снова увидела американскую чету, они входили в ресторан. И я вспомнила чудесную историю из книги Марселя Блистена «До свиданья, Эдит».

...Это было в дни молодости Эдит, когда она еще не была Пиаф. Когда ей приходилось скитаться с Жаном и Зефириной, двумя такими же уличными певцами, как она сама, по улицам и казармам.

Втроем они как-то приехали в Версаль, где на следующий день должна была открыться ярмарка. Они бродили по улицам очень проголодавшиеся. И вдруг Эдит остановилась возле роскошного ресторана (того самого, куда сейчас вошли мои американцы!).

— Ты не спятила, мом?—жались артисты к стенке.

— Я знаю, что я делаю!

Они вошли и заняли маленький столик. Эдит решительно подозвала официанта, попросила меню и заказала самые дорогие блюда и отменные вина. Давясь, Жак и Зефирина приступили к еде. А Эдит, забыв обо всем на свете, наслаждалась, как никогда, изысканной кухней, болтая, веселясь. И, словно разыгрывая роль состоятельной особы из хорошего общества, не обращала никакого внимания на хозяина ресторана, со стороны наблюдавшего за подозрительной компанией. Жена его сидела в кассе и с возмущением перебрасывалась репликами с мужем.

Когда подали кофе, Эдит поманила пальцем хозяина. Он подошел.

— Обед был превосходным, месье. Выражаем вам глубокую признательность и просим вас на прощание выпить вместе с нами по рюмочке рома.

Заинтересованный развязностью девчонки, хозяин приказал подать четыре порции рома.

— За ваше здоровье, месье! — подняла рюмку Эдит и, опрокинув ее, добавила : — Вы, конечно, понимаете, что у нас нет ни гроша, чтобы расплатиться с вами.— Она, улыбаясь, глядела хозяину в глаза.

Жан и Зефирина походили на побитых щенков.

— Но ничего, месье! — продолжала Эдит, допив последнюю каплю рома.— Мы — артисты, и завтра мы выступаем здесь у вас, на ярмарке. Разумеется, наш счет будет оплачен во второй половине дня. Мерси, до свидания.

Хозяин ничего не имел против, чтобы дождаться завтрашнего дня. Но хозяйка озверела:

— Мало того, что они нас обокрали. Но она смеет еще издеваться над честными людьми. «За ваше здоровье, месье!..»

И тут она отпустила такую площадную брань, что Эдит, хорошо знавшая этот лексикон, вытаращила глаза.

Разумеется, их отвели в полицию. Они ночевали там на скамейках, а утром предстали «перед трибуналом». Весь седой судья, с необычайно умными, добрыми, ироническими глазами, выслушав жалобу хозяев, вышел в другую комнату и вызвал туда Эдит.

— Как же это так получилось?

— Вы знаете, очень уж захотелось поесть... А в кармане ни гроша... Но ведь мы сегодня заработаем...

— Послушай, детка. Мне почему-то хочется тебе верить. Я отпущу вас. Но если ты не принесешь сегодня денег в ресторан, то, значит, я жестоко ошибся и ты обманула такого старого добряка, как я...

Разумеется, они заработали на ярмарке. И отнесли в ресторан все, что получили, и даже уплатили чаевые гарсону. Хозяин был удовлетворен, но хозяйка еще долго метала молнии, никак не могла простить четырех порций рома!..

Через много лет, уже во время оккупации Франции, в то время, о котором великолепно говорит поэт Элюар в стихотворении «Мужество»:

Париж, мой прекрасный город,
Тонкий, словно игла, и крепкий, словно меч,
Наивный и мудрый.
Ты не сносишь справедливости.
Только она для тебя — беспорядок.
Ты завтра освободишь себя, Париж!
Париж, трепетный, как мерцание звезд, —

вот в это время, после одного из концертов в театре «А-бэ-сэ», друзьям Эдит Пиаф, уже знаменитой певицы, пришло в голову где-нибудь поужинать. В Париже не было ни мяса, ни рыбы, ни овощей, избытком и разнообразием которых он всегда славился. Оккупанты вывозили все. На продукты были введены карточки.

Была, как никогда, холодная зима, и топливо тоже выдавалось по карточкам. Не было бензина, и по Парижу курсировали автобусы со странными приспособлениями на крышах, в виде белых длинных баков — автобусы приводились в движение газом.

По ночам город был погружен в блэик-аут — затемнение. Парижане носили в карманах фонарики. Само собой разумеется, все рестораны, кафе и бистро были закрыты, и тогда кто-то из друзей предложил поехать в Версаль. Авось там, вдали от центра, что-нибудь да открыто. У кого-то из актеров оказалось разрешение на пользование машиной. Они сели и покатали в Версаль.

К великому удивлению Эдит, был открыт тот самый ресторан, где когда-то она подвизалась с приятелями. Тот же зал, тот же хозяин, та же хозяйка в кассе. Ничего не переменилось, разве только сама Эдит!

Компания заказала хороший ужин. Ели, пили, веселились.

Под конец Эдит внезапно повернулась к хозяину и поманила его пальцем. Он не замедлил подойти.

— Ужин был превосходный, — обратилась она к хозяину. — Все очень довольны, а я особенно! Может быть, вы выпьете с нами, месье?

И хозяин, не сморгнув, ответил:

— По рюмочке рома, мадам!

Конечно, он ничем не намекнул о прошлом, чокаясь с Эдит. Он был изысканно любезен с компанией мадам Пиаф и сам проводил гостей до дверей. Но когда они уселись в машину и отъехали, Эдит, обернувшись, увидела его, неподвижно застывшего у дверей с мечтательной улыбкой на лице.

Но старого, милого человека, седого судью, отпустившего тогда бродячих певцов на волю, Эдит больше никогда не встречала.

А между тем ей всегда страстно хотелось найти его и выполнить какое-нибудь самое заветное желание человека, поверившего жалкой девчонке, имевшей счастье стать знаменитой Пиаф.

ТВОРЦЫ И СПУТНИКИ ПЕСНИ

Их была целая плеяда возле Эдит. Музыка писали Мишель Эме, Франсис Лэ, Флоренс Верон, дирижер Мики Теодораки, Лабоди.

Тексты писали Раймон Ассо, Мишель Вокер, Анри Контэ, Мустаки, а многие тексты писала сама Эдит. Но были два любимых композитора, которыми написано большинство песен. Это Маргерит Монно и Шарль Дюмон.

О Маргерит Монно йевица вспоминает с нежностью и любовью. Она восхищается необычайной даровитостью Маргерит, которая уже в три с половиной года играла Моцарта в концертном зале, на большой публике и вместо гонорара получила большого плюшевого кота...

Эдит считала Маргерит лучшим своим другом, и ей, быть может, дороже всего было в Гигит, как она называла музыкантшу, то, что при всей ее красоте, тонкости и образованности, в ней начисто отсутствовало умение «устроить дела» — издавать свои произведения.

Марсель Блистен вспоминает Маргерит Монно *как* прелестную женщину, несколько рассеянную и всегда чем-то увлеченную.

Так, выйдя из почтового отделения, она случайно могла забраться в багажник чужой велотележки и просидеть там в ожидании своего мужа, который, выйдя через несколько минут из того же почтового отделения, целый час разыскивал свою жену возле входа и по соседнему кварталу, пока она, увлеченная новой песней, сидела в багажнике.

Будучи очень рассеянной, она постоянно забиралась в чужие машины, однажды даже уехала на чьем-то мотоцикле.

С ней могло произойти и такое: слушая хорошую музыку, она вдруг начинала восхищаться:

— Нет, послушайте, ведь это же прелесть как хорошо! Разве нет?..

— Но, Гигит, это же твое сочинение!..

— Вы думаете? Не может быть! Если это так, то я очень счастлива!

На музыку Маргерит Монно сделаны были такие великолепные произведения, как «Мой легионер», «Я не знаю конца», «Гимн любви», «Милорд», «Белые рубахи», «В Гамбурге», «Жизнь в розовом цветке», «Печальный господинчик», музыка к фильму «Любовники завтрашнего дня», «Свадьба» — великолепная картинка из фильма «Звезда без света».

Маргерит Монно ушла из жизни раньше самой Эдит Пиаф, и все

воспоминания о ней складываются в образ необычайной чистоты, доброты и душевной гармонии.

Не менее тесно связано творчество Эдит Пиаф с музыкой Шарля Дюмона. У Дюмона был совсем другой стиль, чем у Монно, хотя оба они типичные французы в музыке. Монно — мечтательнее, лиричнее, мягче. Дюмон — саркастичнее и острее. Он написал музыку для песен: «Бог мой!», «Всплески бала», «Незнакомый город», «Ты тот, кто мне нужен», «Старина Люсьен», «Нет, не жалею ни о чем» — все это шедевры, которые создали Эдит большую популярность и славу. В большинстве случаев это песни на тему одиночества женщины, разочарованной в любви, женщины в поисках счастья.

Блистен рассказывает в своей книге:

«...Я не раз присутствовал при рождении песни. Это иногда гораздо интересней и пленительней, чем слушать концерт. Обычно после концерта собирались у Эдит. Шел веселый, беспечный разговор, порой спор, в котором разгорались страсти. Иногда Эдит бесподобно изображала разных типов, которых наблюдала повсюду. Эдит постоянно сидела, глубоко втиснувшись в свое огромное кресло, раз в десять больше ее самой. Ее страстью было вязание, и она, разговаривая, вертела спицами.

А как она умела смеяться! Громоподобно, закатываясь в хохоте, она заражала всех вокруг своим смехом. И вдруг неожиданно, отыскав глазами Маргерит Монно или Шарля Дюмона, говорила:

— Послушайте, друзья, есть идея!.. Вот такая придумка... Начинается так...

Тут ее словно выбрасывало из кресла к роялю, и одним пальцем она начинала выводить на клавиатуре музыкальный узор, подпевая себе вполголоса.

И тут совершалось чудо! Рождалась песня. Рождалась ее голосом, вдохновенно выводящим музыкальную мысль. Композитор ухватывает мелодию, разворачивает, варьирует, облекает в гармонический рисунок... У песни уже есть душа, уже есть форма.

У обоих блестят глаза, оба взбудоражены, счастливы. И это не импровизация, не случайные находки, это вдохновенное содружество, соавторство творцов.

Под утро все бледны, все выдохлись и только одна Эдит полна энергии. Глаза ее торжествуют — она уже «держит песню в кулачке». И всегда это было хорошо. Со вкусом, благородно, всегда—настоящее...»

Что касается отношения Эдит к собственному творчеству, то она сама очень точно и убедительно говорит об этом в книжке «На балу удачи».

«...Когда меня спрашивают, как достичь исполнительского мастерства, не претендуя на оригинальность формулировки, я отвечаю: «Работать, работать и работать». Но это не значит, что все так просто. Надо решиться на то, чтобы быть самим собой и никем, кроме самого себя. Это также не значит, что надо игнорировать других. Наоборот, следует слушать их и извлекать пользу из того, чем они могут быть при случае полезны лично вам.

Не бывает концерта, на котором вы чему-нибудь бы не научились, разве уж только не тому, чего вообще не надо делать.

Большое искушение, которому следует сопротивляться, хоть это не всегда удается, — отдаться легкому успеху, . то есть идти «на уступки публике». Внимание — опасность! Известно, где начинаются эти уступ-

ки, но неизвестно — куда они вас могут привести.

Я лично стараюсь не делать ни одной. Я отдаю свое лучшее, я вкладываю всю душу и сердце в мою песню, я прилагаю все мое желание создать между залом и собой человеческий контакт, я хочу найти общий язык с теми, которые меня слушают, но если они отказываются следовать за мной, я не пойду на то, чтоб завоевать их, прибегая к ухищрениям, которые роняют меня в моих собственных глазах, а потом и в глазах публики.

Принимают меня или нет, но я против хитрого подмигивания публике, против тех трюков, ценой которых срывают аплодисменты, не составляющие гордости для артиста. И эта непримиримость впоследствии всегда вознаграждается ».

Этому Эдит учила и Ива Монтана, и Шарля Азнавура, который имел счастье быть тоже ее учеником, и Эдди Константина (еще один талантливый певец, ученик Пиаф, который, к стыду своему, после ее смерти, будучи в Америке, заявил по радио, что «встреча с Эдит была ошибкой его молодости»).

К этой школе принадлежит и Жильбер Бэко, который недавно выступал с концертами в Москве. Но семь Спутников песни, с которыми Эдит выступала, которых, как птенцов, вместе с песней выпустила из своих небольших, но сильных ладоней, для всех этих имя ее священо, как и для той публики, которую она ежедневно собирала в концертном зале.

Репертуар Эдит Пиаф необычайно многогранен. Это не только любовная песня трагического жанра, хотя публика особенно любила именно этот жанр. Связь Эдит с народом в ее постоянных наблюдениях. Эти наблюдения воплощаются в такие песни, как «Нужен клоун» — типично французская песенка, в которой молодой паренек видит на цирковом автобусе мелом написанное объявление.

Парнишка мечтает о романтическом путешествии с бродячим цирком, не представляя себе полную лишений жизнь бродячего актера. Песня полна горькой иронии.

Клоун нам нужен. Но только, малыш, Коль ты мечтатель, так здесь погоришь. Ты, видно, все представляешь не так;
Рыжие патлы, оборванный фрак, Красный носище и речь дурака. Эта работа, малыш, не легка!

Для фильма о взятии Версаля, поставленного режиссером Саша Гитри, никто не мог исполнить с подлинным революционным пафосом песню «Са ира!», кроме Эдит Пиаф. И хотя она не играла в этом фильме, но голос ее звучит над всем хором и оркестром.

Да, будет так!
Будет так! Будет так!
Всех аристократов мы скоро повесим.
Да, будет так! Будет так!
Будет так!
Всех аристократов — на фонарь!

Тонко и гуманно передает Эдит отношение портовой девчонки к одинокому англичанину, потерпевшему неудачу в личной жизни. Это одна из лучших ее песен — «Милорд».

Идите к нам, милорд,
Вы стали грустным вдруг.
Танцует ночью порт,
Забудьте про недуг.
Оставьте все, милорд,
Заботы сбросьте с плеч,
Я вас хочу отвлечь,
Поверьте мне, милорд.
Взгляните на меня —
Не страшен мне сам черт!..
Вы плачете, милорд?..
Не ожидала я.

Но зато какое брезгливое презрение звучит в песне «Господин Инкогнито» по отношению к буржуазному пошловатому господину, карающему случайную женщину в метро.

Месье инкогнито!
Что вы стоите здесь один,
Очень солидный господин
На остановке метро?
Месье инкогнито!
Кто вас придет сюда встречать?
Разве вам можно доверять?
Нет, вы, конечно, не то!

А вот выразительно и верно показанный народный бал — мюзетт в песенке «Всплески бала». Тут танцуют рабочие, солдаты, негры, девушки-продавщицы, даже воришки. Типичное народное гулянье, которое так дорого и близко певице по своему социальному и национальному духу.

Мой веселый бал,
Плещет звон цимбал.
Там аккордеон —
Стонет нежно он.
Пусть вдоль грязных стен
Пропылится пол,
Сдайся песне в плен,
Если ты пришел!

Солдаты провожают в отпуск товарища. Просят его передать родным, что надеются увидеть их в новом году, просят кое о чем, может быть, и не рассказывать, не тревожить, не волновать.

Везет тебе другу солдату —
На родину в отпуск идешь.
Оставишь ружье и гранату,
От жизни в строю отдохнешь.

Казалось бы, не дело актрисы петь солдатскую песню, но так, как поет ее Эдит, она доходит до любого слушателя, до любого сердца.

Эдит Пиаф так высоко подняла жанр французской уличной песни, как не удавалось до сих пор ни одной эстрадной певице, выступающей в буат де нюи — ночном ларце (так называются в Париже кабаре с традиционными эстрадами, на которых испокон веков подвизаются

знаменитые шансонье).

От своего народа получила Эдит легкий, душевный юмор, темпераментную речь, полную лукавства и неповторимой французской невесомости. И пела она по народному, то снижая голос до шепота, до говорка, то поднимая его до оперного звучания.

Она взошла, как сверкающая звезда, и все, что она взяла от своего народа, воплотилось в песнях, которые шли обратно в народ. Их до сих пор напевают и насвистывают в метро, на стройках и в бистро, на досуге граждане Франции.

ПРОЩАЙ, ЭДИТ!

Нужно было всегда удивляться неистовому терпению Эдит и ее выносливости — несколько операций, автомобильные катастрофы, страшные периоды морфинизма и алкоголизма, тяжелые приступы ревматизма и, наконец, цирроз печени.

Последнее время, когда она выступала с Тео Сарапо, она уже с трудом передвигала ноги, и надо было видеть это нечеловеческое упорство и силу, чтобы владеть своим голосом, ни в чем не снижая мастерства, а значит, владеть и аудиторией.

Атака прессы по поводу ее брака с 27-летним парикмахером, из которого она сделала артиста, отречение от католицизма и принятие православной веры, поскольку молодой муж был греком и хотел венчаться в греческой церкви,— все это окончательно подорвало нервную систему Эдит, и она слегла в больницу, теперь уже надолго. Тео, который оказался верным защитником и другом, мечтал по окончании контракта с театром «Олимпия», где они с Эдит выступали, увезти ее на родину — в Грецию, а увез... в больницу.

И там она, чуя близкую смерть, начала диктовать свою последнюю «исповедь», которая стала большим подспорьем для книги, что мой читатель сейчас держит в руках.

11 октября 1963 года Эдит Пиаф не стало. Я хочу привести слова Марселя Блистена об этом скорбном событии, потому что лучше, глубже и искреннее не скажешь.

«...Кончено! В полдень ты нас покинула. Теперь только мы все осознали это. Как вдруг стало холодно и как обидно, что солнце сегодня всю светит над Парижем, это ошибка — должны ползти огромные, серые тучи, небо должно висеть низко и тяжело, так же тяжело, как у нас на сердце. Честное слово! Откуда взялись эти тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч людей, стоящих шпалерами от твоего дома до кладбища Пер-Лашез? Бульвар Ланн, заваленный цветами, по которым ехали и шли. Люди уже не знали, куда положить цветы!..

Пришли все друзья. Изможденные физиономии. Глаза, полные слез. Вчерашние, может быть, враги слились с друзьями в одной общей скорби. И никто не хотел верить.

Но когда вошли в большой зал, затянутый черным, когда увидели гроб на катафалке, то остановились окаменев. Застыли, как все в этом большом доме, еще полным твоего голоса, твоего смеха, всей тобой...

Тихо, не нарушая безмолвия, мы подходили к гробу, и в небольшой, застекленный овал в крышке можно было увидеть эту нелепость: твое восковое лицо...

Нет, это не пугает! Это даже не несчастье. То, что осталось от тебя, не имеет ничего общего с той, кого мы знали, любили, кто нам доставлял столько радости и кем мы так гордились.

Каждый вспоминал. Возрождал в памяти какое-то особо дорогое ему мгновение, которое сохраняется еще и сердцем. Сердце, всегда сердце. Нельзя говорить об Эдит без конца, не повторяя этого слова. Слова ее жизни!

И вот началось. Тысячи пришли сюда. Тысячи молча стояли у подъезда, как ждали тебя у артистического входа...

Вынесли ящик, заваленный грудой цветов. Люди ошалело смотрели: как? и это наша Эдит?..

Люди окаменели, не смея подойти ближе. И я убежден, что в эту минуту каждый из них услышал твой голос, Эдит. Твой голос — горячий, чуть хриловатый, животворящий!..

А потом началось триумфальное шествие. Это был твой апофеоз! Невероятно длинный кортеж пришел в движение, и Париж, весь Париж становился в караул по краям тротуаров, чтобы видеть твой уход. В черноте раскрытых окон белели лица. Толпы народа неподвижно стояли на тротуарах, провожая глазами это шествие. Остановилось движение. Ты пересекала свою столицу, свой Париж... Высшая оценка высшего таланта. — Это Пиаф... Это Пиаф уходит...

Не просто любопытствующие стояли часами, чтобы отдать тебе последний долг. Это был один общий крик любви и признания, он поднимался к тебе, чтобы ты знала, что Париж теперь стал не тот и с тобой что-то навсегда ушло из Парижа.

Когда мы вошли в ворота кладбища и трехцветное национальное знамя, которое держал над гробом один из спасенных тобой военнопленных, заколыхалось между жилищами мертвых, все мы, твои верные друзья и твои родные, были стиснуты людской волной, которая хотела во что бы то ни стало принять участие в последнем шествии между резными, причудливой формы камнями, стоящими над теми, кто пришел сюда, чтобы больше не уходить.

Это было похоже на панику — гигантская волна покатила по дорожкам, люди перелезали через могилы, и это уже были не те, кто присутствует на похоронах, это были те, кто считал, что имеет право проводить Эдит, потому что она всегда принадлежала им.

Бок о бок, без различия классов, положения, не обращая внимания друг на друга, люди безмолвно стремились вперед, чтобы бросить свой маленький букетик в открытую могилу. Какая-то бедная старушонка пыталась пробраться сквозь толпу, извиняясь и приговаривая :

— Вы понимаете... Я тоже должна ее проводить. Это ведь немножко и моя подружка!.. Мом — Пиаф!

Эдит, ты за годы стала Королевой песни! Но для тысяч ты осталась начинающей — мом. Маленькой уличной певицей, открывшей дорогу к сердцам. Певицей, выразившей то, что порой люди не умели выразить словами, певшей, никогда никого не обманывая...

Пять часов вечера. А еще тысячи людей не успели склониться над глубокой темной дырой, в которую мы тебя положили...

Идет ночь. Она окутает мраком все вокруг, и твою могилу, и Париж, и

наши сердца...»

Франция потеряла своего соловья. Но песни Эдит остались. Песни Эдит еще долго будут жить в сердцах и памяти французского народа.

Я закончу прекрасными словами Мориса Шевалье:

«Малышка Пиаф, пришедшая с улицы, чтобы стать Эдит Пиаф, отметила свою эпоху талантом, не похожим ни на какой другой.

Из ее пепла выйдут новые знаменитые голоса, вдохновленные ею, и они будут служить песне, потому что песня, которая входит в сердце толпы, — так же вечна, как любовь и жизнь».

Париж — Москва, 1964 год.

СОДЕРЖАНИЕ

Один из ее друзей
Незабываемое
Клошары
«На балу удачи»
Тротуар
«Мой легионер»
В квартале Пигаль
«А она с нутром, эта малютка!»
Сорок лет тому назад
В доме на авеню де ля Гранд Арме
Размышления за красной скатертью
Начало большой песни
Кинозвезда без света
«Баллада о ста двадцати»
Театр Елисейских полей
«Гимн любви»
На краю пропасти
Что-то должно быть нарушено!
Снова на краю пропасти
«Человек на мотоцикле»
Дорога Ван-Гога
Версаль
Творцы и спутники песни
Прощай, Эдит!